Вадим Смоленский

Записки гайдзина

На наш век хватит

Я заметил его слишком поздно — входная дверь уже закрылась, и отступать стало некуда. Две огромные лапищи обхватили меня сразу всего, принялись мять, тискать, щипать и встряхивать. Приветственный ритуал сопровождался неразборчивым ревом, из которого постепенно стали вычленяться отдельные слова:

— Ррррр... Ррашн!.. Да!.. Нэт!.. Балалайка!.. Перестройка!.. Водку пришел пить, да?!.. А раньше где был? Куда пропал? А?! Мама-сан, вот этому стакан водки, он русский.

Я просунул голову в щель между объятиями и помотал ею, насколько смог. Хозяйка, уже взявшаяся было за бутылку, заметила это и поставила ее обратно. Наконец, хватка ослабла. Для видимости паритета я ткнул его в солнечное сплетение — легонько, чтобы не вызвать новую волну.

— Привет, Тони. Расслабляешься? Я тебя здесь раньше не видел.

— А что ты вообще видел? Садись. Мама-сан, пива!

— Да я, собственно, не собирался... Мне тут человека одного надо найти...

— Не надо тебе никакого человека. Считай, что ты его уже нашел. Я торчу тут один, а ты и не присядешь?

Я плюхнулся на кожаный диван и осмотрелся. В углу напротив нашего веселилась небольшая компания уже подвыпивших японцев в строгих костюмах. Тугие узлы их непременных галстуков были заметно ослаблены. Однако революционная идея совсем снять галстук и повесить его на спинку кресла здесь не приживалась. Так лоси вынуждены круглый год носить рога, необходимые лишь в брачный сезон.

На Тони галстука не было. По его мощной шее взбегал ворот шерстяного свитера, скрывая все подбородки, кроме самого главного, и подпирая румяные щеки, между которыми угнездился классической формы нос. Две щеки и нос — эта композиция настолько доминировала в архитектурном ансамбле его лица, что сказать про другие составляющие этого ансамбля было решительно нечего. Разве что рот еще носил известную нагрузку, да и то чисто функциональную — Тони им разговаривал и пил пиво.

— В меня, правда, не лезет уже, но с тобой выпью, — сообщил он мне. — А то ты к нам совсем заходить перестал. Я уж думал, случилось чего.

У подоспевшей с пивом хозяйки я поинтересовался, не заглядывала ли сюда Дженни. Та покачала головой.

— Какая еще Дженни? — Тони нахмурил щеки. — Это в очках которая?

— В очках — это Келли. А Дженни ты, наверное, не знаешь, она недавно приехала.

— Келли, Дженни... Черт знает что. И охота тебе дружбу водить с этими проститутками?

— Брось ты. Хорошие девчонки.

— Чего в них хорошего-то? Задницы жирные, рожи одна другой страшнее, а наглые — никаких сил нет. Ты давай-ка лучше на японок переходи.

— Да я же их не того... Я просто. Мне ее по делу надо видеть.

— Э-э-э... Все у тебя дела какие-то. Ты когда наконец начнешь жизнью наслаждаться?

— Вот сейчас прямо и начну. — Я поднял кружку. — Кампай!

— Кампай. Как это у вас там? Нздравье?

Мы сшиблись емкостями и приникли каждый к своей. Он пил, работая щеками, как помпами. Они вздымались и опадали подобно крыльям кондора, напитывались пивом и расцветали, а римский нос помогал им ритмичным сопением. Я зачарованно следил, как пенная золотая жидкость увлекается в водоворот и исчезает без следа и воспоминания. Кондор мог лететь долго, но произошел подсос воздуха, и помпы остановились.

— Мама-сан, еще! Да, про что мы тут говорили-то?

— Про наслаждение жизнью.

— Точно. Так вот я тебе говорю: переходи на японок. Здесь есть некоторые очень даже ничего. Могу познакомить.

— Да ты меня уже знакомил с какой-то швеей-мотористкой.

— А, Микико... Ну и как?

— Ноги кривые.

— Ну конечно, лучше когда задница как у этой твоей — Дженни, или как ее там?

— Да у какой у моей? А потом — ты ведь ее даже не видел!

— И не желаю видеть. Я на этих проституток уже насмотрелся. Все права свои качают, достали вконец. Так бы в глаз и залепил... А что? Они равенства хотят, вот и будет им равенство. Пусть во всем равенство будет. А то устроились — как бабки лопатой грести у меня из под носа, так сразу равенство, а как по роже получить, так никакого равенства — она слабая женщина, а ты шовинист. И выходит, что она может тебе по роже съездить, а ты ей нет. Серьезно тебе говорю: если какая-нибудь твоя Дженни или Келли мне по роже съездит, то я от ее рожи вообще ничего не оставлю.

Его кулак выехал вперед, посылая в нокаут невидимую феминистку. Удар, однако, был неточен, и вместо злокозненной феминистки в нокаут отправилась моя ни в чем не повинная кружка пива. Брызги взметнулись фонтаном и едва не долетели до черных пиджаков. Японцы разом умолкли, но через мгновение убедились в своей неподмоченности и возобновили галдеж. Закаленная в испытаниях хозяйка молча вооружилась тряпкой и взялась за ликвидацию последствий. Тони пробурчал слова извинения, потом долго смотрел на ее работу, и похоже, в его щеках зрела какая-то мысль. Когда она созрела, он повернулся ко мне.

— Слушай, а у вас в России бабы тоже успели испортиться? Тоже одни проститутки остались?

— Почему ты так решил?

— Да потому... Взять хотя бы тебя. Ты же был женат?

— Ну был...

— А потом взял и развелся. Это разве нормально? Будь у тебя жена японка — стал бы ты разводиться? Вот тебе мой совет: второй раз женись обязательно на японке. Здесь единственное место, где нормальные бабы остались. Тоже, правда, портятся, но на наш век еще хватит. Можно жить, как японские феодалы жили. Вот я живу, как классический самурай. Я могу свою Фумико вообще по имени не называть. Скажешь ей: «Газету!» — несет газету. Скажешь: «Виски!» — наливает виски. Скажешь: «Эй!» — раздевается, ложится. И главное — душа спокойна. Она ведь все время дома сидит. Ну, выйдет там в магазин, на икебану свою сходит, иногда к подружке. А так все время дома. Ей же ничего не надо — лишь бы в доме порядок и мужу хорошо. Это жена, я понимаю!

— Ну, допустим, тебе повезло, — осторожно вставил я. — Твоя Фумико просто сокровище. А вообще я видел статистику. По числу внебрачных связей Япония на первом месте в мире.

— Чушь, это они цену себе набивают. Да если даже и так, то это мужики стараются. У них мужики приключения любят. А женщины — те нет.

— Погоди. С кем же у мужиков приключения, если женщины это дело не любят?

— Да всегда есть с кем. Всякие там мамы-сан, да мало ли еще... Но уж никак не с замужними. Хотя я тебе по большому секрету скажу: с замужними тоже в принципе можно. Только надо активность проявить. Ты вот неактивен, у тебя шансов нет.

— Тони, но ведь с замужними — это в конце концов неэтично...

Его розовые щеки отъехали к ушам.

— Ты совсем младенец, — заявил он. — Ты невинен, как ягненок. Я просто обязан дать тебе хотя бы начальное образование.

Он отхлебнул пива, секунду поразмыслил и приступил:

— Как ты полагаешь, что в этом мире для нас нужнее всего?

— Ну, не знаю... Не берусь сформулировать.

— А я берусь. Для мужчины в этом мире нужнее всего сочная пусси. Подчеркиваю, для любого мужчины, если только он не идиот. Сочная пусси, желательно каждый день новая. Сейчас у меня уже силы не те, а вот по молодости я выдерживал свой график очень четко. Новый день — новая девка.

— Тони, да ты маньяк какой-то...

Его щеки заходили ходуном. Он смеялся. Он был не злой.

— Я ж говорю: по молодости. Особенно когда я в Бразилии преподавал. Вот это было время! Сейчас, как боссанову услышу, так прямо плакать хочется. Каждый день новая девка была. Теперь-то женатый... Хотя ты не думай, я Фумико люблю. Она у меня номер один. Но не буду отрицать, есть и номер два, и три, и так далее. А вот ты чудной какой-то. Вроде такой молодой, а жизни совсем не радуешься.

— Понимаешь, Тони, как бы тебе это объяснить... У меня несколько другая система приоритетов.

— Знаем мы твои приоритеты! Дженни, Келли... Проститутки вшивые. Но ты еще не самый большой чудак, какого я встречал. Самого непревзойденного козла я видел в Таиланде. Представляешь: он приперся в бар со своей женой!

— Не понял.

— Чего ты не понял? Ты знаешь, что такое Таиланд? Это холостяцкий рай! Там можно в день иметь не одну новую пусси, а хоть десять. И дешево! Ты заходишь в бар, а они там уже вертятся на карусели. Все с номерами, тебе только пальцем ткнуть. И вот представь: они вертятся, а этот козел заходит и ведет с собой свою сорокалетнюю слониху. Это все равно как прийти во французский ресторан, вынуть из кармана сосиску в тесте и сожрать ее у всех на виду. Для меня это было просто оскорбительно.

— Ну, ты как-то очень тоталитарно мыслишь. Может, он ее любит?

— Кого?! Эту толстозадую? Не смеши меня. Он просто у нее под каблуком. Каждый божий день слушает речи про равенство и поддакивает. Представляю, как у него тогда слюнки текли. Ты бы видел этих на карусели... Скуластенькие! Грудастенькие! А главное — приветливые! Они тебе слова поперек не скажут, сделают все, что велишь.

Не то что всякие твои Дженни да Келли... Проститутки!

— Погоди, я опять не понял. Проститутки — это которые?

Он откинулся и довольно пошевелил щеками.

— Вот видишь! У тебя проблемы с английским. Почему бы тебе не брать у меня частные уроки? Я как-никак профессионал. По дружбе дорого не возьму. Идет?

— Да нет, спасибо, я как-нибудь сам...

Его щеки вдруг позеленели. Он подозревал самое ужасное и невыносимое. Обида полезла наружу:

— Так вот зачем тебе нужна эта чертова Дженни. Это ты у нее хочешь уроки брать, да? Ну, удружил...

— Да нет, что ты, Тони, нет... Она вообще не преподает, она программист на Мотороле. Мне у нее надо забрать свою дискету.

— Ха! Программист! Да уж конечно, таким только и дорога, что в программисты. Глаз-то на них все равно никто не положит. Ну, разве что только какой-нибудь японец полоумный, для которого они, как для нас с тобой филиппинки.

К щекам постепенно возвращался природный цвет. Тони вновь чувствовал ко мне расположение. Он дружески меня облапил и, склонившись к уху, проникновенно произнес:

— Вообще-то ты хороший парень. Если тебе малы японские презервативы, могу поделиться с тобой американскими.

— Спасибо, Тони, — ответил я. — Оставь их себе. Японские мне в самый раз.

От удивления он так сильно втянул в себя щеки, что все скопившееся в них пиво хлынуло ему в желудок. Я с испугом подумал, что сейчас он станет совсем пьяным.

— Я был о тебе лучшего мнения, — сказал он. — Впрочем, это твои дела. В самый раз, так в самый раз. Одно знаю точно — ты должен быть активнее.

— Тони, вот чего я не люблю, так это когда мне говорят: «Ты должен!»

— Ну хорошо. Тебе следует быть активнее. Жизнь такая штука — по собственной охоте под тебя никто не ляжет. Этим надо серьезно заниматься.

Мы допили пиво, расплатились и вышли на улицу. Перед нами лежало рисовое поле, и в нем стрекотали лягушки. Над полем висел месяц.

Покачиваясь, Тони подошел к краю поля и обдал лягушек горячей струей. Они замолчали.

— Плохо то, что городишко невелик, — произнес он задумчиво. — Все у всех на виду. Особо не развернешься. Я на твоем месте ездил бы в Токио на выходные. Хотя, с другой стороны, накладно... Почему бы тебе не подрабатывать в русской мафии? Я слышал, они здесь уже вовсю шуруют.

— Ты до дому-то доберешься?

— Постараюсь. Тут такси недалеко. А ты пешком?

Я кивнул. Он хлопнул меня по плечу.

— Еще раз тебе говорю: будь поактивнее. Жизнь одна, и ты рискуешь умереть, так ей и не насладившись. Если будут проблемы, можешь рассчитывать на любую помощь с моей стороны.

— Спасибо. Передавай привет Фумико.

— Передам. А ведь завидно тебе, признайся. Вот я сейчас приду, а она даже не спросит, где я был. Помяни мое слово — жениться можно только на японке. Хватит их еще на наш век.

— Хорошо, я так и сделаю. Ну, счастливо.

Как только его грузная фигура скрылась из виду, лягушки вновь принялись стрекотать. Было за полночь. Мама-сан считала выручку, черные клерки расставались наконец с галстуками, и бедняга лось поудобнее укладывал рогатую голову на мшистую кочку.

За дверью моей квартиры меня встретил красный свет, который разливался по прихожей, как по ванной фотолюбителя. Он исходил из лампочки на телефонном аппарате и означал наличие записи на автоответчике. Я щелкнул по кнопке, пленка отмоталась чуть назад, и зазвучал знакомый полушепот:

— Говорит Фумико, привет. Тони опять пришел совсем пьяный и сразу уснул. Он сказал, что видел тебя и что ты пошел домой один. До утра он точно не проснется, так что я сейчас заскочу к тебе на часок-другой. Жди.

Сообщение было оставлено пять минут назад. Еще через пять она будет здесь. Будет звонок в дверь и хрупкая фигурка на пороге. Будут тонкие холодные руки и прерывистое дыхание. Будут острые лопатки и мятный вкус на губах. Будут тени на скулах и колдовские раскосые глаза, неотрывно следящие за мной сквозь бахрому челки. Этот чертенок, эта оторва, худая как богомол и стройная как статуэтка, опять выпьет меня до самого дна, открыв тайники, которых до нее никто не открывал. И я снова не удержусь от расспросов, и снова выяснится, что она не ропщет, что она готова откармливать эти щеки до конца дней. И уже в который раз я подумаю, что *их* мне не понять никогда.

январь 1998г.

Очки

В знании туземных наречий есть как плюсы, так и минусы. Первые общеизвестны. Освоив язык аборигенов, путешественник или колонист способен самостоятельно прыгать туда-сюда через языковой барьер, глубоко проникать в местную культуру и быть среди туземцев своим в доску. Минусы менее очевидны. Они обнажаются только в больших колониях, при наличии достаточного числа соотечественников, пренебрегающих вышеперечисленными плюсами. Их пренебрежение понятно. В самом деле, жизнь коротка, и всему на свете все равно не научишься. Зачем вникать в устройство сливного бачка, если можно вызвать сантехника? В одном случае теряется масса драгоценного времени, а в другом — бутылка водки. Затраты несоизмеримы. Поэтому холодильник колониста, овладевшего местным языком, обычно бывает под завязку забит сорокаградусной. Поводы к получению магарыча разнообразны — обращение к врачу, визит в полицейский участок, прием свалившихся на голову туземных гостей. Ни одно из этих мероприятий не может быть успешно проведено без переводчика, поскольку и гости, и врачи, и даже полицейские, не сговариваясь, усаживаются по ту сторону пресловутого барьера.

Хорошо, если наш колонист неравнодушен к алкоголю. В этом, не столь уж и редком случае он имеет возможность обращать минус в плюс, опрокидывая за ужином честно заработанную чарку и упиваясь сознанием своей нужности людям. Хуже, если он к алкоголю равнодушен. Во-первых, уменьшается полезный объем холодильника. Во-вторых, окружающие начинают думать о нем как о пьянице, что не соответствует истине и портит реноме. Такому колонисту крайне трудно обрести моральную компенсацию своим бескорыстным трудам. Его рвут на куски все кому не лень, его время пожирается бесконечной рутиной — но в тот роковой миг, когда он готов расплеваться со всеми и перестать быть альтруистом, небо посылает ему Курьез, посылает Казус, ставит пьесу в театре абсурда и даже предлагает в ней роль, отказаться от которой невозможно. Пожалуй, ради одного этого уже стоит учить иностранные языки.

* * *

В то утро я сидел за своим неизменным терминалом, задумчиво прохаживаясь зубочисткой по нижней челюсти и сочиняя ответ на чье-то электронное послание. День стоял солнечный; в оконное стекло то и дело ударялись головами глупые стрекозы, ошалевшие от тепла. Гул тракторов, доносившийся с окрестных рисовых полей, смешивался с криками студентов на футбольном поле. Все это было не очень шумно — сравнимо с жужжанием моего компьютера. Фактически, в кабинете стояла тишина.

Тишину эту нарушил стук в дверь, вслед за которым на пороге появилась кандидат физико-математических наук Зинаида Шишкина.

Я не сразу узнал ее. Что-то отличало ее от той Зинаиды Шишкиной, которая сидела в дальнем крыле и часто встречалась мне в столовой. С той Зинаидой произошла какая-то метаморфоза, и получилась эта. Приглядевшись к лицу, я заключил, что виноваты глаза, гораздо более круглые и выпуклые, чем раньше. Мелькнуло предположение, что с Зинаидой стряслась базедова болезнь и она намеревается взять меня переводчиком к эндокринологу. Но глазами странности не исчерпывались. Походка ее ставила вопросов не меньше. Раньше она ступала царственно, как львица, а теперь передвигалась на манер Чебурашки, не отрывая ног от земли. Растопыренные ладони ходили по воздуху, как два миноискателя. Ухватившись ими за спинку кресла, Шишкина со второй попытки уселась в него, заломила руки и произнесла страдальческим голосом:

— Вадичек!.. У меня несчастье. У меня очки уплыли.

— Что?!

— Очки. В унитаз...

Она сказала это и ждала моей сочувственной реакции.

В природе существуют умения и навыки, на первый взгляд совершенно бесполезные, но вдруг поворачивающиеся неведомым доселе спасительным боком. Кому, казалось бы, в реальной жизни может пригодиться способность беззвучно смеяться? Подчеркиваю: смеяться, но беззвучно. Способность просто держать себя в руках, подавляя смех как таковой — дело другое, есть множество ситуаций, когда такая способность необходима. Ей должны обладать, к примеру, работники похоронных бюро. Им нельзя смеяться ни звучно, ни беззвучно, поскольку любые проявления смеха — даже чисто визуальные, вроде запрокидывания головы или мелкой дрожи брюшного пресса — оскорбляют чувства посетителей. Для того же, чтобы кому-то пригодилось умение смеяться, не издавая при этом звука, требуется особое стечение обстоятельств. Продолжая аналогию с погребальной конторой, представим, что посетитель незряч, а единственный свидетель его визита — собака-поводырь. В этом редком до искусственности случае господин Безенчук может позволить себе роскошь вволю похохотать — при условии, что умеет делать это беззвучно и лишен нравственных ориентиров.

По всей видимости, я был начисто лишен таких ориентиров, ибо меня нисколько не занимало, до какой степени заметны внешние проявления моей реакции. Имидж воспитанного человека не пострадал исключительно благодаря привычке смеяться с перекрытой гортанью. Слух несчастной Зинаиды не различил звуковых волн, а наблюдать запрокинутую голову, перекошенное лицо и скрюченные ноги ей не пришлось, поскольку все эти подробности сливались сейчас для нее в одно-единственное мутное пятно, которое называлось «Вадичек». Оставалось еще костно-мышечное чувство, которое в принципе могло уловить колебания низкой частоты, передававшиеся от моего тела окружающим предметам. Но эти колебания почти без остатка гасились амортизаторами хитроумного анатомического кресла, в котором я находился.

Таким образом, Зинаида не была оскорблена. Но ей казалось, что я молчу, и это ее смущало. Поэтому, выждав некоторое время и не услышав ответа, она произнесла:

— Вадичек! Ты хоть понял, что случилось?

Притворяться молчащим и дальше становилось невежливым. Я собрал всю свою волю в кулак и подверг судорожные колыхания чрева мгновенной заморозке. Достигнутый эффект удалось удержать ровно настолько, чтобы успеть произнести: «Понял!» — и снова рухнуть в объятия садистически непреодолимого смеха. А Зинаида по простительному неведению принялась подливать масла в огонь:

— Ты знаешь, Вадичек, я сама не пойму, как это у меня вышло. Я думаю, это потому, что у них сливной рычаг слишком низко расположен. Ты вот говоришь, что японцы никакие не маленькие, что это миф. Какой же миф, если такие низкие рычаги? Им, выходит, наклоняться не надо. Это нам надо наклоняться. Они у меня прыг — и туда, а рычаг-то я уже нажала. Кинулась ловить, да все как-то в суматохе, движения не скоординировала, а ты же знаешь, там очень быстро засасывает. Меня саму чуть туда не засосало. Так и уплыли, с концами...

У инстинкта самосохранения много функций. Не дать особи умереть от смеха — одна из самых неизученных. Никто из биологов пока не объяснил, как работает таинственный механизм, вмиг превращающий смешное в несмешное, лишь только в небе замаячат крылья ангелов. А между тем, кто подсчитает, сколько жизней спасено этим чудесным приспособлением природы? Вот и моя вошла в его длинный послужной список. Сведенный живот разом отпустило. Лицо разгладилось. Я попытался что-то сказать, но вышел один хрип — гортань еще не оправилась от перегрузки. Пришлось откашливаться.

— Да, Вадичек, я тебе самого главного не сказала. Они у меня были сложнолинзные. И еще они у меня были одни.

Наконец, мое горло пришло в порядок.

— Да, подруга, — произнес я. — Плохи твои дела. Сочувствую от всей души.

— Спасибо, Вадичек, — ответила она, глядя в никуда. — Я знала, что ты мне поможешь. Давай подумаем, что нам делать.

— Как что делать? — удивился я. — Идти к окулисту, да новые заказывать. Что тут еще сделаешь?

— Нет, Вадичек, ты не понял. Я хочу их оттуда достать.

Я почувствовал, что мой уставший пресс сейчас снова скрутит судорогой и начнется второй припадок. Чтобы предотвратить его, я принялся вспоминать все самое печальное, что знал в этой жизни. Перед моим мысленным взором последовательно прошли смерть бабушки, безответная школьная любовь, травма головы и развал Советского Союза.

Медитация помогла. Теперь я был перенасыщен мировой скорбью. Мысль о том, что Шишкина будет разыскивать свои очки в канализации, казалась вполне ординарной.

— И как ты собираешься их доставать?

— Еще не знаю. Надо установить, кто этим заведует.

— Спроси у наших бюрократов. Они тебе все расскажут.

— Ой, Вадичек, что ты! Мне неудобно. Все ж таки унитаз... А потом, там этот сидит, как его... Накаяма.

— А что Накаяма?

— Ты что, не в курсе? Все уже в курсе. Он к нам приставлен.

— К кому это «к нам»?

— К кому, к кому... К русским! Ты обрати внимание — как только при нем по-русски заговоришь, он сразу ушки на макушке и слушает. Потом докладывает куда надо.

— Ага. Сейчас побежит морзянку отбивать: «У Шишкиной очки в унитаз уплыли».

— Да ну тебя, Вадичек, я серьезно. Давай съездим в мэрию.

— Зачем в мэрию-то?

— Там точно про все знают.

— Ну, съезди. Там же по-английски говорят.

— Да я все равно не знаю, как унитаз по-английски. А потом, как я одна поеду? Я ж не вижу ничего!

Аргумент был весомый. Бросить Зинаиду в таком состоянии было бы негуманно. В конце концов, думал я, все равно придется везти ее к окулисту, сажать на стул перед плакатом с шайбочками для неграмотных и старательно переводить скупые слова: «слева», «справа», «сверху», «снизу» — после чего выбирать оправу, узнавать цену, договариваться о сроках, и все это сегодня, потому что чем раньше, тем лучше. Как ни крути, все равно придется потратить сегодня пару часов на Шишкину — и раз уж она непременно хочет доставить несколько веселых минут работникам мэрии, то и ради бога.

— Ладно, поехали, — сказал я. — Проверим их на вшивость. Устроим маленькое шоу.

На улице наблюдалось роение стрекоз. Они облепили мой автомобиль и норовили его изгадить. Ведомая мной Зинаида заняла переднее сидение, а я завел мотор и при помощи дворников стал сгонять насекомых с лобового стекла. Те из них, что занимались любовью, были очень недовольны. Я представил себя на их месте, и мне стало не по себе.

Поначалу Шишкина вертела головой и щурилась на проплывавшие мимо рекламные щиты. Потом бросила это бесперспективное занятие и предалась думам. Какое-то зерно сомнения в ней все же было посеяно, и вот полезли всходы:

— Слушай, Вадичек, а вдруг они скажут: «Ищите сами свои очки»?

— Не скажут, — успокоил я ее. — Это не по-японски. Самое худое, что нам могут сказать, это «Мы подумаем над вашим предложением» или «Мы вас проинформируем позже» или, как самый крайний вариант, «Вы нам поставили очень сложную задачу». Это все означает «Подите прочь, не морочьте голову». Но грубить точно никто не будет.

— А смеяться тоже не будут?

— Этого гарантировать не могу. Кто их знает, возьмут да засмеются.

— Но ты же не смеялся?

— Сравнила... Я философ.

Карауливший стоянку дядька в синем мундире показал, куда встать. Часы на фронтоне мэрии показывали одиннадцать. До обеда еще было время.

— Надо узнать, кто у них главный по канализации, — предложила Шишкина. — Ему все и расскажем.

— Не годится — отрезал я. — Подумай сама: человек, может, ни разу иностранцев вблизи не видел, а тут приходят сразу два и говорят: «Мы у вас свои очки утопили, найдите их». Он будет шокирован, растеряется, забегает по этажам, и толку мы с него не поимеем. Такие контакты надо осуществлять опосредованно. У тебя тут знакомые есть?

— Может, и есть... Только как я их узнаю без очков?

— Тогда будем через моих. Главное — грамотно все изложить.

Мы прошли узким коридором, толкнули железную дверь и оказались в подобии бомбоубежища. Потолок этого огромного помещения был весь опутан сложным переплетением труб, шлангов и проводов, с которых свисали отсохшие концы изоленты, клочья паутины и таблички с названиями отделов. Под табличками теснились письменные столы, шкафы с документацией, стеллажи, тумбочки и перегородки. Меж ними сновали одинаковые люди в белых рубашках, рабочие муравьи бюрократического муравейника. Кое-где рубашки перемежались более либеральными нарядами дам. Одна из них сидела прямо напротив входа и сражалась с допотопной пишущей машинкой в две тысячи иероглифов. Согнувшись в три погибели, она подолгу водила пальцем по широченной матрице; отыскав нужный иероглиф, брала его на рычаг и наносила удар по листу, после чего ставила на место и принималась за поиски следующего.

Я пытался сообразить, к кому лучше обратиться, как вдруг печатающая дама решила разогнуть натруженную спину и заметила нас с Шишкиной.

— А-а-а! — обрадовалась она. — Дзинаида-сан!

— Знакомая? — спросил я.

— Ой, не вижу, — растерялась Шишкина.

— Доброе утро, — обратился я к даме. — Мы из университета.

— Помню, помню, — ответила дама. — Доброе утро. Как поживаете?

— Спасибо, — сказал я, — в целом неплохо. Но есть маленькие частности. Я бы даже сказал, есть серьезные проблемы. Которые требуют отдельного, обстоятельного разговора. И нам нужен человек, способный такие проблемы решать. Если вы не возражаете, я вам обрисую нашу проблему в двух словах. У нас очки в унитаз уплыли.

— Подождите минуточку, — не моргнув глазом, сказала дама и исчезла за перегородками.

— Смотри-ка, — повернулся я к Зинаиде. — Она даже имя твое помнит.

— А я всегда по имени представляюсь. Не люблю, когда они меня по фамилии зовут. У них некрасиво получается.

— Это как — «Сиськина»?

— Ну, типа того.

Дама вынырнула обратно из-за перегородок и повела нас этажом выше. Судя по всему, делу был дан ход. Табличка на кабинете, куда мы вошли, гласила: «Начальник общего отдела».

— Здравствуйте, — начал я с порога. — Мы из университета. Вот эту женщину зовут Зинаида Шишкина. Она математик. Крупный ученый в своей области, уникальный специалист. Случилось так, что ее очки уплыли, а без них научная работа невозможна. Положение крайне серьезное, и мы хотели бы просить вас о помощи.

Общий начальник сначала в смятении замахал руками, словно бы отгоняя стрекозу, но тут же овладел собой, нахмурил брови и нарисовал на лице озабоченность.

— Да, — произнес он. — Я понимаю, случай чрезвычайный. Не сомневайтесь, будут приложены все силы. Мы горды, что стали университетским городом. Для нас большая честь оказаться полезными столь высокоученым господам. Так что, вы говорите, случилось с вашими очками?

— Видите ли, — сказал я, — по некоторым косвенным признакам они должны сейчас находиться в канализационной сети.

— Так... — Начальник глянул на нас искоса и побарабанил пальцами по столу. — В таком случае обратимся в соответствующий отдел.

Отдел водопровода и канализации располагался на третьем этаже. Видимо, чем ниже в физическом мире находилась епархия того или иного начальника, тем выше ему полагалось заседать. Мы ввалились туда целой делегацией, и я еще раз изложил суть дела. Дальнейшее напоминало военный совет. На столе расстелили подробную карту городских канализаций, и лучшие стратеги отдела принялись вычислять наиболее вероятную траекторию шишкинских очков. Канализационный начальник сидел подбоченясь, как Кутузов в Филях, и следил за полетом мысли своих орлов. Зинаида кусала губы от волнения.

— Вадичек, — шепнула она, — скажи им, что они у меня сложнолинзные.

— Зачем? — удивился я. — Ни к чему это. Неровен час, Накаяма узнает и доложит куда надо. И потом, ты хоть объясни, что это такое.

— Ты разве не знаешь? Это значит бифокальные.

— Позвольте вопрос, — обратился к нам канализационный начальник. — Какого размера были ваши очки?

— Как это какого размера? — не понял я. — Вон, сами поглядите. Какого размера лицо, такого и очки.

— Действительно, — согласился он и что-то черкнул в своей бумажке. — Еще такой вопрос: в каком состоянии они уплыли? Я имею в виду: в сложенном или в развернутом?

— Падали они в развернутом состоянии, — ответила Зинаида, когда я перевел. — Но от удара о воду могли и сложиться. Я точно не помню.

— Если сложились, то плохо, — сказал начальник. — У развернутых очков больше шансов за что нибудь зацепиться. Вот мы тут определили, где их следует искать. Здесь решетка, потом здесь, еще одна здесь и последняя здесь. Начнем вот отсюда, с улицы

Накабяку. Сейчас снарядим бригаду, пусть проверят.

Последовало еще несколько вопросов о толщине стекол, цвете оправы, материале и изготовителе. Казалось, они вознамерились выловить все очки, когда-либо утопленные населением города в своих унитазах, и уже из этой кучи выбирать искомые.

— Особые приметы есть? — прозвучал последний вопрос.

— Сложнолинзные! — выдохнула Шишкина.

— Очень хорошие, — перевел я.

Начальник кивнул, дополнил спецификацию особой приметой и передал бумажку своим стратегам. Они поклонились и вышли — наверное, снаряжать водолазов. Нам предложено было подождать прямо в кабинете. Мы не возражали.

— Ты гляди, подруга — сказал я, — похоже, дело-то выгорает! Неужели и вправду выловят твои бифекальные?

— Вадичек, ты все никак не привыкнешь, что в Японии живешь. Это ведь страна высоких технологий! Тут все возможно.

Канализационный начальник подморгнул даме из бомбоубежища. Она вышла и через пару минут вернулась с подносом. Перед нами появились две чашки зеленого чая и блюдца с дрожащими кубиками какой-то желтоватой субстанции. Зинаида наклонилась к ним вплотную и изо всех сил прищурилась.

— Что это, Вадичек?

— Названия не помню, — ответил я. — Только помню, что к зубам сильно прилипает. Так что лучше глотай, не жуя. Для приличия можешь во рту немного поболтать.

— Я лучше вообще не буду.

— Как это не буду? Ты меня не позорь. В приличном месте находимся.

Начальник водопроводов и канализаций прислушивался к диковинным звукам чужестранной речи и, похоже, обессилел в догадках:

— Простите пожалуйста. Нельзя ли узнать, откуда вы к нам приехали?

— Отчего же нельзя? Мы приехали из России.

— О-о-о-о-о... — только и сказал он.

Потом добавил:

— Э-э-э-э-э...

И наконец:

— М-м-м-м...

После этого он надолго замолчал, сидел тихо, глядя то на меня, то на Шишкину, то на карту своих владений. Зинаида гоняла во рту желтый кубик, производя псевдожевательные движения. Проглотила, поморщилась, запила чаем.

— Слушай, Вадичек, я вот что подумала. Если бы к ним японец пришел за очками, их стали бы искать?

— Ну, начнем с того, что японец не пришел бы к ним за очками.

— Почему?

— А ты в Москве пошла бы за очками в мэрию?

— Ты меня за дуру держишь.

— Ну вот. А здесь нас за кого держат, как ты думаешь?

— За дураков?

— За иностранцев! Что в известном смысле то же самое. Иностранцам, как и дуракам, закон не писан. И не только здесь, кстати. В любом социуме, где живут более-менее спокойно и достаточно замкнуто, чужакам делают скидку. Ты совок вспомни — как тогда с иностранцами носились.

— Ну, это политика была.

— Не только. У людей в мозгах это тоже сидело. Вот послушай. Когда я в институте учился, мы в сессию после каждого экзамена в «Пушкарь» ходили пиво пить. Хороший такой был пивняк, но долго приходилось ждать, пока принесут. Так мы каждый раз с собой негра брали. У нас в группе был парень из Уганды, и вот, как пиво долго не несут, мы ему говорим — мол, сходи, Петерс, поторопи их там. Действовало безотказно. Иностранец! И здесь то же самое. Мне один американец говорил, что ему нравится жить в Японии, потому что он ощущает позитивную дискриминацию.

— Хм... И насколько нам ее хватит, этой дискриминации?

— Пока не примелькаемся. Думаю, еще долго. Ты ж понимаешь, лет пять назад в этой деревне вообще ни одного иностранца не было. Так что, как говорит один мой знакомый, на наш век хватит. Конечно, если нас сюда налетит, как саранчи и мы вылезем из приготовленной для нас ниши, то тогда начнется негативная дискриминация. Особенно если будем канализацию засорять бифекальными очками и ходить по инстанциям с дурацкими просьбами. Да еще в рабочее время.

Зазвонил телефон. Начальник отдела взял трубку и через несколько секунд расплылся в самодовольной улыбке.

— Нашли, — сообщил он нам. — Моют.

— Что вы, что вы, — запротестовал я. — Мы и сами помыли бы!

— Что такое? — встревожилась Зинаида.

— Нашлись твои сложнолинзные.

Она подпрыгнула на стуле и радостно взвизгнула. Даже ослик Иа-Иа, когда ему вернули потерянный хвост, вел себя сдержаннее.

— Зацепились за первую же решетку, — отметил начальник. — Видимо, все-таки развернутые плыли. А помыть-то помоем, как же это вы сами будете? Хорошо, когда решетки стоят, правда?

— Хорошо, — кивнул я. — Еще хорошо, что она очки утопила, а не контактные линзы. Линзы, пожалуй, за решетку не зацепились бы.

— Да уж, — согласился он. — С контактными линзами было бы труднее.

— А у вас как вообще, — поинтересовался я, — много чего цепляется за такие решетки? Вы ведь их чистите, наверное?

— Конечно чистим, — сказал он. — В основном что попадается? Расчески, игрушки, цепочки всякие. Иногда браслеты. Два раза кошельки вылавливали и один раз вставную челюсть. Очки тоже встречаются, но редко.

— Хозяева не заявляют?

— Не припомню такого. Сегодня первый случай.

— А почему они не заявляют? Вот, скажем, вставная челюсть — дорогая же вещь!

— Ну, может стесняются. Или думают: зачем мне такая челюсть, которая во рту не держится? Лучше новую сделать, чтоб держалась. А может, просто в голову не приходит, что можно ее оттуда достать. Специально-то такой услуги не предусмотрено...

Скажите пожалуйста, а где вы учили японский язык?

— Специально нигде не учил, просто живу здесь.

— Очень хорошо говорите.

— Я польщен.

— Ха-ха-ха! Какие слова знает — «я польщен»! Ну надо же! Наверное, голова хорошая, да?

— Нет, что вы, голова никудышная. Голова вот у нее хорошая, она ученая женщина, математик.

Ученая женщина торжествующе улыбалась. «Вот! А вы не верили!» — было написано на ее лице, хранившем отсвет высоких технологий, постиндустриальных ценностей и экономических чудес. Точное математическое знание о разрешимости задачи поиска прошло проверку практикой и оказалось истинным. Скептики были посрамлены и могли сушить весла.

Из коридора послышалось покашливание и несмелый стук. Дверь открылась. На пороге нарисовались два дюжих гегемона в зеленой униформе и залихватских косынках по моде карибских пиратов. Резиновые сапоги отливали фиолетовым.

— Простите за беспокойство, — сказали они хором и склонились в полупоклоне. Затем один подошел к начальнику, снова склонился и обеими руками протянул ему тряпичный сверток. Начальник принял его одной правой, потом подключил левую и по такой же двуручной схеме подал Зинаиде. Величие момента заставило ее встать. Она приняла драгоценный сверток в руки, с волнением развернула и недоверчиво поднесла содержимое к ноздрям.

— Не извольте беспокоиться, — сказал гегемон. — Продезинфицировано.

— Слышь, Шишкина, кончай нюхать, — сказал я. — Невежливо. Это просто хлоркой несет. Или аммиаком.

— Ваши? — спросил начальник.

— Мои, — подтвердила Зинаида. — И стекла целы.

Она водрузила находку на ее законное место и глазами младенца, впервые увидевшего мир, оглядела комнату и всех, кто в ней находился.

— Сенкью, — произнесла она с чувством. — Сенкью вери-вери мач!

На всякий случай я перевел.

Гегемоны сложились в пояснице и задом попятились к выходу. В дверях они выпрямились, и проскандировали:

— Огромное вам спасибо!

После чего поклонились так, что чуть не стукнулись лбами о коленки, — и, продолжая пятиться, исчезли за дверью.

— Видела? — спросил я Шишкину. — Нам сейчас предстоит это повторить.

Следующие полдюжины фраз вместили все известные мне в японском языке формулы благодарности. Глава канализационной службы радостно смеялся, крутил головой, говорил: «да нет, что вы! да нет, не стоит!», и под конец до того расстрогался, что кинулся пожимать нам руки. По завершении рукопожатий я дал Зинаиде знак, и мы засеменили задом наперед по направлению к дверям. Наш прощальный поклон был настолько глубок, что у нее с носа опять слетели очки — на этот раз она сумела поймать их в воздухе и, вконец сконфуженная, выпрыгнула в коридор, причем не задом, а в нарушение всех правил передом. Мне пришлось заканчивать ритуал в одиночку, и последним, что я видел, была блестящая лысина нашего нового друга, в поклоне упершегося лбом в схематическое изображение канализационного люка на улице Накабяку.

Зинаида ждала на лестнице.

— Приделай к ним цепочку, — посоветовал я. — С цепочкой дальше шеи не упадут.

— Это все из-за их поклонов дурацких, — насупилась она. — В гостях кланяйся, в присутственном месте кланяйся. В сортире — и в том кланяйся!

— Что поделать, — вздохнул я. — Часть национальной культуры. Кстати, кланяешься ты неверно. Руки по швам только мужики держат. Ты должна руки сложить лодочкой, как будто тебе штрафной бьют, а ты в стенке стоишь. Казалось бы, нелогично, да? По идее должно быть наоборот, но именно в этой парадоксальности...

— Вадичек, — перебила она меня, — а что было бы, если бы мы не поклонились?

— Ровным счетом ничего. Мы же иностранцы, с нас какой спрос? Совершенно никакого. Мы могли там вообще нагадить посреди кабинета, никто слова не сказал бы. Они, кстати, и сами-то кланяются нечасто, разве что по службе.

— А зачем мы тогда кланялись?

— Да так... Для ради шоу.

Она фыркнула и стала спускаться по лестнице своей всегдашней царственной походкой. Она не была актрисой в душе. Импровизации в театре абсурда и кураж как способ существования ее не интересовали. Ее интересовали практические результаты. Максимум, что ее интересовало — это математические формулы. Говорят, что и в формулах есть своя красота. Если она могла эту красоту разглядеть, то за нее не стоило волноваться.

Дядька в синем мундире отвесил нам напутственный поклон, и фронтон мэрии остался позади. Вскоре позади осталась и историческая улица Накабяку. На нас надвигалась вывеска с огромным, три на три метра, иероглифом «сакэ». Судя по всему, Зинаиде он был знаком.

— Вадичек, — сказала она, — давай заедем в винный. Я тебе водку куплю.

— Не надо мне никакой водки, — отмахнулся я. — И так уже девать некуда.

— Как, — растерялась она. — Ведь ты же переводил...

— Это я из любви к искусству.

Она проводила вывеску беспомощным взглядом и уставилась вперед. Эскадрильи стрекоз пикировали на лобовое стекло и, не долетев до него считанных сантиметров, веером разлетались в стороны. Знал ли когда-нибудь этот край подобное нашествие насекомых? Едва ли. Они тоже были участниками спектакля, грандиозной массовкой, и сквозь их стаи уже прорисовывались контуры того, что здесь называли «интернациональным университетом» — центральной декорации, с размаху воткнутой прямо в рисовые поля дерзкой рукой Главного Режиссера.

июль 1998г.

В одной гондоле

Современная медицина учит: излишки адреналина надо сбрасывать в кровь. Иными словами, пугаться совсем не вредно, а напротив того, полезно. Пугайтесь на здоровье, в меру своей фантазии. Смотрите ужастики. Летайте дельтапланами. Прыгайте в пропасти, уцепившись ногой за веревку. Ходите с рогатиной на медведя.

Но и не убейтесь, знайте меру. Здесь, кстати, легче тому, кто еще не избалован. Возьмите младенца: много ли ему надо? Собака гавкнула — он уже весь в адреналине. Пресытившимся труднее. Чего стоят дрессировщики, которые вынуждены каждый вечер совать свои головы тиграм в пасти, лишь бы сбросить пресловутые излишки! Нет, лучше не перебарщивать. Мне, например, для гормональной встряски вполне хватает такого простого средства, как горные лыжи.

...Я девятый раз резко затормозил у самого подъемника и с удовлетворением отметил поступление в кровь девятого миллиграмма. Катись я чуть медленнее, столько не выделилось бы. На пологих склонах есть лишь один способ развить скорость: расставить ноги пошире и ехать по прямой. Пусть пижоны бравируют техникой, пусть виляют сомкнутыми ножками — они заработают внимание дам, но животного страха они не заработают. А вот если нестись камнем из пращи Давида, если снег залепляет очки и лыжи грозит разнести от вибрации, если в ушах свистит и окружающие едва успевают от вас шарахаться — вот тогда ваши надпочечники отдадут все, что в них накопилось за неделю растительного существования.

Для ровного счета не хватало одного миллиграмма. Я взглянул на билет: до конца моих трех часов оставалось две минуты. К подъемнику тянулась очередь. Минут на десять. Не успеть.

На некоторых курортах поступают очень мудро: для одиночек делают отдельную очередь и подпускают из нее туда, где образуются бреши. Здесь же заняться этим поленились. В результате четырехместные гондолы уходили заполненными на три четверти, а то и наполовину — компании отдыхающих не желали дробиться. Из-за их эгоизма и лености администрации мне предстояло остаться без десятого миллиграмма.

В конце концов, — подумал я, отстегивая лыжи, — никому не будет хуже, если я сам озабочусь своей посадкой. Я никого не задержу и никого не оскорблю. В конце концов, я честно и смиренно отстоял сегодня девять очередей — отстоял бы и эту, да не позволяет время. Вон подошли трое, почему-то без очереди, наверное, работают тут. Два амбала и девушка. Никто к ним не подсаживается, чего бы мне не подсесть? По пути подарю им рацпредложение по поводу дополнительной очереди, они мне только благодарны будут.

Я пролез под заградительной цепью и оказался перед гондолой. Те трое уже усаживались, и мне тоже надо было спешить. Дядька-контролер смотрел на меня, открыв рот и пытаясь вспомнить предписания инструкции по поводу иностранных нарушителей. Я крикнул ему: «Все равно свободно, четвертым буду!» — подбежал к уходящей гондоле, одним махом засунул лыжи в пенал и нырнул боком в закрывающиеся двери.

Меня встретил удар локтем по ребрам. Я едва не вывалился обратно, но успел зацепиться за что-то пальцами и втиснуться внутрь. Двери сдвинулись, и наружу остались торчать только концы палок, которые я не успел втянуть. Сам удар был не особо силен, но от неожиданности у меня перехватило дыхание — живя в Японии, от грубости отвыкаешь.

— Извините, — сказал я. — Просто у вас было свободное место...

Они не отвечали. Тут я заметил, что подъемник остановился. Один из амбалов внимательно изучил меня глазами, достал рацию и что-то в нее пробурчал. Гондола тронулась. Амбалы подвинулись и дали мне сесть. Один сидел напротив меня, другой рядом.

Я посмотрел на одного, потом на другого. Физиономии различались мало, а одинаковые костюмы делали их и вовсе похожими на близнецов. Оба бровастые, оба губастые, у обоих на скулах поигрывали волевые желваки. И оба глядели на меня в упор, как будто хотели прожечь во мне дыру своими взглядами.

Нет, — подумал я, — это не сотрудники курорта. Те были бы повежливее. Да и никаких опознавательных знаков на них не видно. Почему ж они без очереди? И эти взгляды...

Я перевел взгляд на девушку, сидевшую по диагонали. Она тоже смотрела на меня. Но с каким выражением она смотрела, было непонятно. Глаза закрывали темные очки, а нос и рот прятались под маской. Вполне разумно при сегодняшней погоде. Но ведь интересно, что она думает по моему поводу. С этими не разговоришься, а с ней?..

— Заяц! — крикнул я, ткнув пальцем в окно и тут же получив новый удар по ребрам. Но дело было сделано: она заинтересовалась, подалась на мою сторону и прильнула к стеклу.

— Где?

— Ну, не сам... Следы...

— А-а-а... — Она казалась разочарованной.

— Но я тут раньше видел и самого. А в прошлом году — лося!

— А медведя?

— Медведя не видел. Но они тут есть. Вы, похоже, не отсюда?

— Нет, я из Токио. А вы?

— А я отсюда.

— Нет, я имею в виду: из какой страны?

— Из России.

Амбалы не шевелились. Что она скажет в ответ? — думал я. Если дура, то скажет: «В России холодно, да?». А если не скажет, то не дура. Это как лакмусовая бумажка.

— В России не была, — ответила она.

— А где были?

— Много где...

— Например?

(Если скажет: «В Калифорнии» — значит, дура.)

— В Альпах.

(Не дура.)

— На лыжах там катались?

— Ну да...

— Выходит, вы профессионал?

— Нет, что вы, это хобби!

— А профессия?

Амбалы напряглись и перевели взгляд с меня на нее. Она замялась. Через пару секунд я снова оказался в перекрестном прицеле.

И вдруг я вспомнил. Такие взгляды я видел в фильме «Мимбо-но онна». Ну конечно! Первая лента, выставившая японских мафиози в неприглядном свете. После нее у режиссера Дзюдзо Итами были неприятности. Его подкараулили на улице и исполосовали все лицо ножами. Но не убили. Убийства не в их стиле. Режиссер сделал это с собой сам, несколько позже и по другому поводу.

Так-так, понятно... Я еду в одной гондоле с якудзами. Они, оказывается, еще и лыжники. Хотя нет, какие лыжники? Они просто на работе — охраняют дочку своего босса. Или любовницу. Впрочем нет — дочку. Дочка катается, они охраняют. Все понятно.

Только зачем же меня локтем в ребро? Я что — на эту дочку покусился? У меня билет, в билете написано: до четырех тридцати. Имею право. Они имеют право лезть без очереди в силу того, что их боятся, а я имею такое право в силу билета. И нечего меня локтем.

Кстати, интересно: что они за лыжники? Допустим, дочка катается классно, в Альпах научилась. А охрана? Если плохо катаются, то как охраняют? Врежутся друг в друга, а она усвистит вперед. Вот смеху-то будет!

Очень это интересно. Надо бы посмотреть. Может даже, что-нибудь этакое подстроить для проверки. С одной стороны, конечно, якудзы. Но с другой стороны, это же сколько сразу будет адреналина! Убить не убьют, проверено. В крайнем случае, рожу ножами разукрасят. Вот с отечественной братвой шутить не стоит. А с этими, пожалуй, можно.

Да и потом: по ребру-то они мне заехали! И не извинились. Что же теперь — так и оставить? Ну уж нет.

Гондола остановилась. Двери разъехались в стороны, приглашая выйти. Я вылез, вытащил лыжи из пенала и, не оборачиваясь, пошел к склону. Снег все еще сыпал, к тому же усилился ветер, начинало смеркаться. Самая что ни на есть адреналиновая погода.

Перед спуском я оглянулся. Все трое стояли кучкой. Один якудза что-то вещал в рацию. Второй бдительно озирался по сторонам. Охраняемая наводила порядок в экипировке. Я оттолкнулся палками и заскользил в долину. Метров через сто остановился и стал ждать, вглядываясь в снежную пелену.

Спустя пару минут они показались. Один амбал катил впереди, расчищая путь, как ледокол. У него в кильватере, блистая отточенной техникой, шла опекаемая девица. Второй амбал замыкал караван. Видно было, как он зыркает глазами во все стороны, дабы уберечься от неожиданностей. На долю секунды его взгляд задержался на мне. В следующую долю он просвистел мимо.

Вариантов моих действий было несколько. Воображению рисовалось то подобие футбольного подката, то борцовское взятие на бедро. Правда, я не был уверен, что мне хватит горнолыжной техники для выполнения этих сложных сценариев. Я ведь только и умел, что ездить быстро и страшно. Но времени на раздумья уже не было, оставалось действовать по обстановке.

Я набрал скорость, и скоро вся троица снова выступила из снегопада. Они все так же шли гуськом, чуть левее меня, и я неуклонно приближался к ним по диагонали, ускоряясь все более и более. Задний якудза прилежно крутил головой, но меня пока не видел. Когда я приблизился к нему вплотную, склон резко пошел вниз. Меня вынесло вперед и наперерез, по его лыжам, с одновременным взлетом — так взлетает куропатка из-под ног охотника. Эффект превзошел все ожидания. Благополучно приземлившись и успешно затормозив чуть ниже, я оглянулся, чтобы увидеть миг позора японской мафии. Бедняга распластался на спине и, не в силах перевернуться, ехал в таком виде по склону, хватая руками воздух. Его одинокая лыжа осталась скучать наверху. Зрелище грело душу, но задерживаться было нельзя. Я рванул вниз.

Казалось очень естественным обратить внимание отряда на потерю бойца. Я так и поступил, но не со всем отрядом, а только с его арьергардом. Догнав их и вклинившись между, я развернулся поперек, затормозил, сделал страшное лицо и такими отчаянными жестами изобразил долю упавшего амбала, что дочка крестного папы не могла не остановиться.

— У тебя там друг упал! — крикнул я.

— И что, покалечился?

— Да нет, просто. Лыжа отстегнулась...

Она покосилась на меня, как на ненормального. Тем временем передний якудза, не ведающий о событиях у себя за спиной, скрылся в завесе снежных хлопьев. Я мог собой гордиться.

Чуть ниже трасса раздваивалась. Установить, в который рукав утек авангард отряда, не представлялось возможным. Она остановилась и задумалась.

— Что, не знаешь, куда двигать?

— Да, забыла...

— Направо к подъемнику, налево к гостинице. Тебе куда?

— Наверное к гостинице...

— Тогда налево. Поехали.

Она чуть поколебалась, оглянулась назад — упавший все не появлялся. Резкий порыв ветра заставил ее поежиться. Она оттолкнулась палками и двинулась вниз, выписывая слитыми воедино ногами безупречную синусоиду.

Ну хорошо, — подумал я, глядя на нее сверху. Допустим, охрана ее потеряла. Что мне предпринять теперь? И надо ли вообще что-то предпринимать? С одной стороны, раз уж начал куражиться, так продолжай. С другой стороны, мафия. С мафией не шутят. А с третьей стороны, адреналин — это хорошо. Ладно.

Я раскантовался, расставил лыжи пошире и принял спусковую стойку. Сосенки и сакурки замелькали все быстрее и быстрее. Лыжам стало щекотно от бугорков и кочек. Живот сам собой поджался и завибрировал. Десятый миллиграмм медленно, но верно выдавливался в кровь.

Я нагнал ее уже в самом низу — мы практически синхронно затормозили под окнами гостиницы. Утоптанная площадка перед отелем была заполнена толпой праздношатающихся лыжников в расхристанных ботинках. Охраны не наблюдалось.

— Ну что, — спросил я, — будешь ждать своих друзей?

— Да, — ответила она. — Подожду.

— Так может, зайдем в буфет, кофе выпьем? Чего на ветру торчать?

Подножие склона продувалось не хуже вершины. Она снова поежилась, секунду подумала и отстегнула лыжи.

— Ты что, здесь и остановилась, в этом отеле?

— Да.
— Ничего, что я на «ты»?
— Ничего.

Какая неразговорчивая, — думал я, заходя с ней в здание. Не иначе, как от холода. Надо кофеем отпоить. Разговорится.

Мы уселись за стойку буфета. Она стащила с носа маску, но осталась в огромных горнолыжных очках. Глаз не увидать за стеклами.

— Так и будешь в очках сидеть? — спросил я ее.

— Так и буду.

— Понятное дело. Безопасность. Конспирация. Ты в самом деле такая крупная птица?

— Получается.

— Да ладно тебе. Это у тебя, наверное, папа крупный.

— Папа само собой. Но я тоже чуть-чуть.

— Тоже чуть-чуть... Я смотрю, вы там в Токио какие-то больно важные. А на самом деле, мы тут ничем не хуже.

— Я верю.

— Ты к нам надолго?

— Завтра уезжаю.

— Жалко. Я бы тебе кое-что показал. Хотя можно и сегодня. Ты рок-н-ролл любишь?

— Я люблю классическую музыку.

— Ну, это я тоже люблю. Оперу люблю петь.

— Петь?

— Ну да. Особенно когда на лыжах катаюсь. Скажем, еду вверх на открытом подъемнике и исполняю куплеты Мефистофеля. Или что-нибудь из «Хованщины». Внизу лыжники пугаются, задирают головы и падают в сугроб.

Она строго посмотрела на меня сквозь очки.

— Хотя это занятие я уже прекратил.

— Почему же?

— Ехал как-то на подъемнике, а мужик внизу спиливал пень, чтобы об него народ не побился. Затянул я что-то русское народное, а он с перепугу казенную пилу поломал. После этого совесть заела.

Она неопределенно хмыкнула. Подали кофе. Отхлебнув глоток, я спросил:

— Ну, так как насчет рок-н-ролла? Сегодня классные ребята играют, у вас в Токио таких не водится. Поехали, пока тебя твои друзья не отловили. Надоели ведь уже наверное?

— Почему надоели?

— Не гармонируешь ты с ними. Такая утонченная — слушаешь классическую музыку, катаешься в Альпах... И вдруг рядом вот такие.

— Какие «такие»?

Я огляделся по сторонам и провел указательным пальцем по скуле. Жест, заменяющий страшное слово «якудза».

И тут она расхохоталась. Звонко и заливисто. «Отогрелась наконец, — подумал я. — Сейчас разговорится.» Но не успела она отсмеяться, как раздались крики и топот.

В буфет вломилось полтора десятка накачанных молодых людей в штатском. Половина из них размахивала рациями, вторая половина держала руки за пазухами. Один из давешних амбалов тоже был с ними, и все они бежали к нам. По их лицам я предположил, что в самом лучшем случае мне сейчас заломают руки и уложат мордой на стойку. Однако до этого дело не дошло. Моей охранной грамотой стала ее ладошка, которую она выставила им прямо в кровожадные пасти. Они остановились, тяжело дыша, а она напутственно похлопала меня другой ладошкой по спине. Оставив недопитый кофе, я встал и сделал шаг по направлению к дверям. Чудовища расступились, и я прошел по живому коридору, ловя на себе их испепеляющие взоры. К моменту выхода на улицу мои надпочечники выжали все, что имели. Но, против ожиданий, на улице никто не кинулся ко мне с охотничьим ножом, чтобы чертить узоры на моей физиономии. Я без приключений дошел до машины, погрузил лыжную амуницию, смел со стекол снег, сел за руль и тронулся. Двое из охраны стояли с рациями на крыльце, отслеживая мои действия.

Что-то тут не так, — думал я. — Якудзы, которых я видел в кино, носили щегольские усики и малиновые пиджаки. А эти какие-то безусые, и пиджаки у них вовсе не малиновые. И не орут на блатной фене дурными голосами. Может, все дело в кинематографическом имидже? В стереотипах массового сознания? Но ведь мизинцы-то они рубят? Рубят, сам видел, в бане. И татуировки видел. А эти как были — с мизинцами или без? Жаль, не разглядел...

Дорога шла под гору. На лобовое стекло летели белые мухи. Я включил радио.

— Как мы уже сообщали, — раздался бодрый дикторский голос, — сегодня нас почтила своим присутствием Ее Императорское Высочество принцесса Мори. В программе визита — участие в праздновании столетия города, посещение краеведческого музея и отдых на горнолыжном курорте Какамура. Завтра утром Ее Высочество проследует в Ямагату.

Я съехал на обочину, заглушил мотор и некоторое время сидел, не шевелясь. Потом включил свет в салоне и осмотрел свой левый бок. Никаких следов. Ребра целы. Ни шишечки, ни синячочка.

Жаль.

январь 1999г.

Копай-копай!

— Megan Мородой черобек!

Я оглянулся. Реплика принадлежала благообразному дедульке в соломенной шляпе, мимо скамейки с которым я деловито прошагал. Увидев, что я остановился, он вскочил и засеменил ко мне.

— Дзудорафствуйте, — старательно выговорил он и протянул руку.

— Здравствуйте, — ответил я. Рука оказалась неожиданно крепкой.

— А вы... Чито делай? Русский?

— Русский, — кивнул я.

— Я... газета читай, — сказал он и развернул «Ёмиури симбун». — Вот. Униберситет. Русский профессор. Да?

— Да, тут русских много, — начал было я по-японски, но он замахал на меня руками.
— Нет! По-русски давай!
— Вы учите русский язык? — как можно вежливее спросил я.
— Нет сейчас, — сказал он. — Давно. Военнопренный.
Он вытащил из нагрудного кармана белую картонку и протянул мне. Я прочитал:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Г-н Кадзухо Сота награжден памятным знаком Роскомархива
"За созидательный труд на российской земле"

Председатель Роскомархива Р.Г.Пихоя.

За удостоверением последовал сам памятный знак, выполненный в виде медали. На одной его стороне было начертано: «Бывшим японским военнопленным», а на другой: «По случаю выдачи справок о труде».

— Ничего не понял, — пожаловался дедушка, делая ударение на «я». — Русский язык трудно.

Я объяснил ему суть документа в общих чертах. Он не довольствовался этим и пожелал узнать значение каждого слова.

— Чито такой со-дзи-да-тэ...

— «Созидательный»? Ну, это когда ничего нет — а потом: раз, и есть. Потому что работал.

— А где «работал»?

— Вот здесь. «Труд» — это значит «работа».

— А-а-а... На-ро-сси-и-су...

— На российской. Значит, на русской. Ну, Россия!

— Понял. Дзе-му-ре... Чито такой?

— Земле. Ну, земля! — Я пнул носком ноги асфальт.

— Земля! — повторил он, и глаза его загорелись. — Земля! — вырвалось у него снова. — Земля! — произнес он в третий раз и задрал голову вверх, будто вспоминая что-то. Затем радостно хихикнул и сказал:

— Копай-копай!

* * *

Кадзухо Сота никогда не носил погон. Разгром Квантунской Армии застал его семнадцатилетним телеграфистом, сидящим в захудалом отделении связи среди маньчжурских сопок. Гражданский статус нисколько не смутил сталинских соколов, и Кадзухо пришлось созидательно копать российскую землю наравне с вчерашними солдатами. Ему несколько не повезло с фамилией: лагерные вертухаи переиначили «Сота» в «Сытый», и любили шутить по поводу того, что сытого кормить не надо.

— А потом... такой маренький... как по-русски? По-японски это номи-сирами.

— Блохи и вши.

— Бурохи и фуси?

— Да.

— Бурохи и фуси очень много.

Дедушка лихо крутанул руль, и мы выехали на скоростную дорогу. Оставалось полчаса езды до его дома, куда он зазвал меня погостить на вечерок. Бывший военнопленный уверенно давил на газ и травил лагерные байки. Когда ему не хватало русских слов, он заменял их матюгами — а к японской лексике прибегал крайне неохотно.

— А потом... как это... Самогонка! Рюбишь?

— Не очень.

— Йоппу товою матти! А я рюбрю! — Он постучал себя в грудь. — Я сибиряк!..

* * *

Сибиряк Сота свернул с автострады в каком-то мелком городке, поплутал по узким улочкам и припарковал машину на небольшой стоянке. Я вообразил, что мы уже добрались до его дома — но не тут-то было.

— Вырезай, — скомандовал он. — Пойдем японские макароны есть.

Подивившись грамматической отточенности этой фразы, я послушно вылез и последовал за своим новым знакомым в двери маленькой лапшевни. В общем-то, и следовало ожидать, что угощать он меня будет не дома — заранее известить жену о приеме гостя не было времени. Мы уселись за массивный стол и принялись изучать меню.

— Самогонка нету! — сокрушенно вздохнул дедушка и зашелся хохотом. Собственные шутки приходились ему по вкусу.

Отсмеявшись, он заказал две миски рамена. Подоспели они довольно скоро. Спутанные в клубок макароны нежились в темном соевом бульоне, а сверху на них благородно возлежали ломтики свинины.

— Это как по-русски? — поинтересовался дедушка Сота.

— «Свинина».

— Нет! — протестующе воскликнул он, потом опять задрал голову и несколько секунд вспоминал. После чего наставительно поднял палец и сказал:

— Это чушка!

Я не возражал против чушки и принялся за еду. Дедушка одобрительно покивал моему владению палочками и весьма членораздельно произнес:

— Порекомендуйте мне недорогую гостиницу.

— Что?! — опешил я.

— Нет-нет! — замахал руками дедушка, достал из кармана разговорник, нашел нужное выражение и поправился:

— Приятного аппетита.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Сота-сан уже несколько раз ездил в места своего пленения, где осталась могила его брата. Всякий раз он понемногу совершенствует свой русский по японским учебным пособиям. Поэтому теперь его русский состоит из двух слоев: в одном слое «капуста-картошка», «подъём» и «работай, сука», а в другом — «позвольте вас побеспокоить», «окажите такую любезность» и «приходите к нам еще». Слова из первого слоя он помнит очень хорошо, а из второго — часто путает.

— Ничего не понимай, — пожаловался он мне. — Хочу снова военнопренный.

И еще раз от души посмеялся собственной шутке.

* * *

Дом оказался совсем рядом — далеко не бедный, с садом и гаражом. На шум двигателя выбежала классическая японская бабулька. Она усердно кланялась и лопотала приветствия. «Жена», — пояснил дедушка Сота и матюгнулся.

Утихомирив двух цепных псов, которым я активно не нравился, хозяин запустил меня внутрь. В доме витал японский дух — деревянные столбы, портреты предков, синтоистский алтарь и керосиновая печка. На втором этаже располагался кабинет. Его атмосфера была несколько иной — ее создавали ряды разнокалиберных матрешек, лосиные рога под потолком и балалайка без струн. На книжной полке располагалось несколько фотоснимков: Сота-сан в гостях у русского семейства, Сота-сан у подножия памятника Ленину и он же на фоне неказистого деревянного строения.

— Гостиница, — разъяснил он мне. — Комсоморьск.

— Хорошая? — поинтересовался я.

— Не-е-ет! — замахал он руками. — Пурохой. Грязный!

— Что, блохи и вши?

— Ха-ха-ха!... Бурохи и фуси... Нет. Очки!

— Какие очки?

— Туарет. Такой дыра. Как военнопренный, тоже одинаково.

— Понятно. А еда хорошая?

— Пурохой. Нефукусно. И поезд пурохой, и автобус тоже.

— Так что, получается, там все плохо?

— Да, фусе пурохо. Торько один хорошо.

— Это что же?

— Черобек.

* * *

Хозяин усадил меня перед телевизором и стал потчевать видеофильмом. На экране нарисовалась узкоколейная дрезина, резво бегущая по диким степям Забайкалья. На двух лавках вдоль бортов сидели бывшие лагерники, неподвижные как дзэнские монахи. Сота-сан тоже был среди них и тоже медитировал. Куда дрезина едет, было непонятно — все звуковое сопровождение состояло из стука колес. Минут через десять этой тарковщины я и сам начал впадать в транс. Но тут картинка сменилась. Появилась лесная поляна со взводом русских солдатиков. Вооруженные лопатами и ломами, они долбили неподатливую землю.

— Могила! — сказал дедушка. — Копай-копай!

Дела у солдатиков постепенно продвигались. Самые шустрые уже добрались до полуистлевших костей. Они доставали их и бережно складывали на куски брезента. Из костей получалась пирамидка, сверху на нее клался череп. Вид пустых глазниц очень развеселил дедушку. Он тыкал в экран пальцем, хлопал себя по коленкам и давился от смеха. Я не выдержал:

— Сота-сан, ведь это чужие головы. А если бы ваша?

— Да, — виновато сказал он. — Конечно.

И опять залился счастливым детским смехом.

Эксгумация закончилась. Извлеченные останки разложили на специальном столе, облили бензином и подожгли. Делегация японских ветеранов построилась в шеренгу и медитировала на пламя. Оно полыхало высоко и долго. То, что осталось от костей, ссыпали в урны.

— В Японию, — сказал дедушка. — Домой.

Любительская часть завершилась и пошла телевизионная запись. Какой-то забайкальский начальник рассуждал о взаимопонимании между народами. Потом показали берег Байкала. Над берегом летали чайки. Вверх по чайкам поползли титры: «продюсер программы — Ф.Ползунов».

— Вы уже на пенсии, Сота-сан? — спросил я. — Или еще работаете?

— Работа? — переспросил он. — Да, работа. Еще нет старый.

— А какая у вас работа?

— Трудно. Как по-русски, не знаю.

— Зачем обязательно по-русски?

— Если по-японски, ты ничего не понимай.

— Ну, вы попробуйте, может пойму?

— Нет.

— Это что, тайна?

Сота-сан встал, чтобы выключить телевизор. Потом сел напротив меня. Пожевал губами. Подумал.

— Пепел, — вдруг сказал он по-японски. — Я торгую пеплом.

* * *

В голове каждого из нас растет гносеологическое древо. Одни возделывают его с любовью, поливают, удобряют — и становятся энциклопедистами. Таких ничем не удивить и ничем не испугать. Другие же бросают свое древо на произвол стихий, позволяют ему расти вкривь и вкось — чтобы потом пасть жертвами смысловой неразберихи и нелепых ассоциаций.

Вот например: известно, что на острове Ява живет в десять раз больше народу, чем на соседнем острове Борнео. Энциклопедист знает, почему. На Борнео нет ни одного вулкана, а на Яве их множество — поэтому почвы там обильно унавожены вулканическим пеплом. И японские крестьяне тоже любят селиться на склонах вулканов, невзирая на опасность извержения. Уже никто не помнит, кому первому пришло в голову добывать пепел из-под земли и делать из него удобрение — но идея оказалась прибыльной.

А если этого не знать, то можно подумать бог знает что.

* * *

Сота-сан вез меня обратно. Апрельское солнце готовилось коснуться круглой верхушки горы Насудакэ — старого, давно потухшего вулкана. Поля с огородами облепляли вулкан и забегали на склоны, упираясь в оголившиеся проплешины лыжных спусков. Вдали виднелся лесочек, окружающий императорскую дачу.

Неожиданно мы свернули на ухабистую грунтовую дорогу, протряслись по ней пару минут и встали. Мне опять было велено вылезать. Прямо перед нами громоздился экскаватор, из кабины которого торчали изящно скрещенные ноги в белоснежных носочках. Экскаваторщик почивал, отдыхая от праведных трудов. Сота-сан неспешно подошел к нему, потряс за ногу и скомандовал:

— Подъём!

Носочки втянулись в кабину, и через секунду показалась заспанная голова. Ее владелец уже готов был вытянуться во фрунт и извиниться за нерадивость — но начальник ласково похлопал его по плечу и добродушно сказал:

— Копай-копай!

Никаких вопросов не возникло. Он все понял! Экскаватор тут же затарахтел, задрал ковш — и двинулся туда, где его ждали залежи драгоценного пепла. По пути он спугнул двух лебедей из озерца неподалеку. Лебеди поднялись с криками и взяли курс на северо-запад.

В сторону Сибири.

апрель 1999г.

Год Кабана

Слова у нас — до важного самого — так и норовят выпрыгнуть из головы. Даже русские слова норовят, а про японские я вообще молчу. Чтобы их не забывать, надо либо родиться гением, либо овладеть какой-нибудь хитрой мнемотехникой, либо долбить их с утра до ночи.

Но не только. Еще прочное запоминание может быть заслугой педагога. Вот, к примеру, слово «иносиси» я впервые услышал еще до наступления Года Кабана. Но преподали мне это слово так, что я сразу запомнил его на всю жизнь. И не один я — а все, кому довелось при том присутствовать.

* * *

В тот день мы покупали елку. Вернее, покупала Шишкина, а я ей помогал. После Рождества елки были особо дешевыми. Точнее, их не было вообще, их уже убрали в дальние кладовки — но по требованию двух ненормальных гайдзинов, проспавших праздник, вытащили снова. Подобное чудачество было здесь в диковину, поэтому пластмассовое древо обошлось Шишкиной в четверть цены. Довольно поблескивая очками, она улыбалась подходившему автобусу и мысленно уже заедала шампанское салатом оливье.

— Вадичек, у тебя есть «Ирония судьбы»?

— У меня нет. Спроси у Федьки, у него вроде есть.

— Ты сейчас на работу?

— Нет, у меня сегодня японский. Суббота. Кстати, зря не ходишь.

— Да чего туда ходить? Стимула нету. Ну ладно, давай, завтра заглядывай. Мы тебе водки нальем.

Она подмигнула и шагнула со своим древом в автобус. На ступеньках вдруг развернулась.

— Ой, Вадичек, мне в аптеку надо. Как по-японски «аскорбиновая кислота»?

— Аскорбин-сан.

— Я серьезно.

— Я тоже серьезно.

— Да ну тебя!

Автобусные двери зашипели и закрылись.

* * *

...Класс медленно наполнялся. За передними партами расположилось звено дисциплинированных китайских товарищей. У прохода, поближе к керосинке, грелись теплолюбивые филиппинские девы, нервно позевывая после ночной смены. На камчатке бесстрастно восседал индус Рамендра, а чуть ближе ворковала чета парагвайцев. Соотечественников не было.

Урок начался с сюрприза. Наша любимая учительница заболела, и вместо нее прислали замену. Новая сэнсэйша была молода, миниатюрна, и, по всей видимости, неопытна. В окружении разномастных гайдзинов она заметно смущалась и глядела большей частью в потолок. Темой урока был побудительно-страдательный залог, и она отлично его иллюстрировала — весь ее вид выражал благие побуждения пополам с тяжкими страданиями.

Скрипнув, приоткрылась дверь, и в щель просунулась носатая голова в мотоциклетном шлеме. Владельца шлема и головы звали Бенджамин. Летом Бенджамин всюду ходил в трусах, а зимой — в плащ-палатке. Сейчас была зима, и он напоминал полевого разведчика союзнических войск перед встречей на Эльбе. Скользнув на соседнее со мной место, Бенджамин стащил с головы шлем и поставил на пол. Потом открыл рюкзак и принялся извлекать из него сухой паек — два расплющенных гамбургера, пакет чипсов и литровую бутыль кока-колы. Водрузив все это на парту, он знаком предложил мне разделить с ним его походную трапезу. Я вежливо отказался. Он пожал плечами, зачерпнул пятерней побольше чипсов и засыпал в рот.

Аудиторию сотрясли раскаты мельничного хруста. Учительница вздрогнула и замолчала. Я ткнул Бенджамина локтем в бок. Он застыл с набитым ртом и пригнулся, пытаясь укрыться за своей литровой бутылью от осудительных взглядов китайских товарищей. Но учительница продолжала молчать, и Бенджамину пришлось частично отступить. Бутыль он переместил на пол, чипсы убрал вообще, а гамбургеры замаскировал шлемом. Урок возобновился.

— Мери крисмас, — шепнул мне Бенджамин. — Как отпраздновал?

Я оттопырил большой палец. Он посмотрел на меня и хмыкнул:

— А говорили, что вы празднуете позже.

Я кивнул.

— Ты русский ортодокс?

Я мотнул головой.

— Атеист, выходит?

Я подумал и кивнул.

— Ну и правильно. Вот возьми меня — я вообще еврей. Мне в субботу работать нельзя. Ты понял? В субботу нельзя работать. Ну ладно, отдохнуть я еще согласен — но ведь и книжки нельзя читать! Да пошли они в задницу с такими правилами, я лучше тоже атеист буду.

Он осторожно вытащил из-под шлема гамбургер, воровато огляделся и засунул его в рот. Чавканье, которое за этим последовало, было тихим и неоскорбительным.

— Пусть теперь каждый придумает предложение с глаголом в побудительно-страдательном залоге, — сказала учительница. — Начнем с вас.

Она робко ткнула пальчиком в самого крайнего китайца. Китаец напрягся и через пару секунд выдал:

— Меня заставили работать.

— Очень хорошо, — сказала учительница. — Теперь вы.

— Меня заставили читать газету, — сказал другой китаец.

— Меня заставили вымыть ноги, — подхватил третий.

— Меня заставили заплатить налоги, — добавил четвертый.

— Меня заставили... м-м-м, — филиппиночка замялась.

— Работать без контракта! — выручила ее подруга.

Очередь дошла до Бенджамина.

— Меня заставили не есть, — мрачно буркнул он.

— Х-м-м, — задумалась учительница. — Вы знаете, отрицательной формы этот залог не имеет...

— Ну хорошо. Меня заставили сидеть голодным.

— Извините пожалуйста, — она даже поклонилась. — Кушайте на здоровье.

— Спасибо, — Бенджамин засунул в рот второй гамбургер.

— Теперь вы, — обратилась она ко мне.

— Меня заставляют пить водку, — сказал я.

— Как это? — удивилась она.

— А вот так. Потому что русский. Наливают — должен пить. Никуда не деться.

— Это что, каждый день? — Она выглядела озадаченной.

— Нет, не каждый. Например, по праздникам. Вот завтра Новый Год — значит опять заставят пить водку. Традиция такая.

— Это очень интересно, — сказала она. — А вы не могли бы рассказать подробнее о русских новогодних традициях? Они ведь, наверное, непохожи на японские?

— Кое в чем уже похожи, — сказал я. — Вот, скажем, эти ваши звери. Обезьяны там, драконы... В России уже лет двадцать на ваших зверей мода.

— Правда?! — поразилась она. И тут же спохватилась: — Только это не японские звери. Они к нам из Китая пришли.

Китайские товарищи солидарно закивали.

— Кстати! — воскликнула вдруг она, и ее лицо озарилось вдохновением. — А вы знаете легенду про этих зверей? Почему мышка среди них считается первой?

Никто не знал. Даже китайцы.

— Легенда такая, — радостно начала учительница. — Давным-давно китайские боги решили выбрать двенадцать зверей, по числу месяцев — и тоже сделать из них богов. Они позвали мышку и поручили ей сообщить об этом всем остальным зверям.

— Мышку заставили сообщить, — щегольнул я побудительно-страдательным залогом.

— Совершенно верно. И вот мышка всех разыскала и всем сообщила. Бык хотел стать первым и поэтому вышел в путь заранее, за три дня. Он пришел к дому богов раньше всех и ждал. Но когда открылась дверь и боги вышли на порог, то у быка со спины прыгнула мышка, которая на нем тайно ехала — и оказалась впереди. А бык стал вторым. Третим был тигр, который быстро бегал, но вышел позднее быка. Четвертым — заяц. И так далее. А последним пришел иносиси.

— Кто пришел последним? — переспросил я.

— Иносиси, — повторила учительница.

Такого слова никто не знал.

— Inoshishi... — задумчиво произнес Бенджамин. — А кто это такой?

— Это зверь, — сказала учительница. — Он живет в лесу.

Она взяла фломастер и попыталась изобразить загадочного зверя на доске. Вышло подобие мамонта, только хобот был короче.

— Кабан! — догадался Бенджамин.

— А по-моему мамонт, — сказал я.

— Какой еще мамонт? Когда это мы встречали год мамонта? Давай спросим. — Он обратился к учительнице. — А как этот зверь говорит? Он, наверное, говорит «ойньк-ойньк»?

— Или, может, «хрю-хрю»? — предположил я.

Тут весь класс захрюкал на разные лады. Учительница задумалась.

— Иносиси говорит «бухи-бухи», — сказала она наконец. — Потому что он похож на свинью.

— Я ж говорю, кабан! — обрадовался Бенджамин. — А никакой не мамонт.

— Иносиси пришел последним, — продолжила было учительница, но вдруг осеклась, побледнела и по-рыбьи глотнула ртом воздух. Со стороны это выглядело так, как если бы Штирлиц нечаянно сболтнул Мюллеру несуразицу, прямиком ведущую к провалу. Ее губы обескровились, очки вспотели, а взгляд остекленел.

Длинный нос Бенджамина учуял жареное. Со свойственным ему отсутствием такта он тут же задал провокационный вопрос, который уже крутился в голове каждого из нас:

— А почему это, интересно, он пришел последним?

Учительницу качнуло, она схватилась за спинку кресла и готова была безжизненно сползти на пол. После полуминутной борьбы ей удалось одолеть дурноту, собрать силы и сказать:

— Он проспал.

Собственно говоря, такой ответ уже мог считаться исчерпывающим. Но природная честность нашей учительницы не позволила ей поставить здесь точку, умолчав о самом главном. Она обвела класс беспомощным взглядом, набрала в грудь побольше воздуху, напряглась и сказала:

— Иносиси...

Вышел фальстарт. На большее запала не хватило. Пришлось начинать сначала.

— Иносиси...

Опять фальстарт. Несчастная учительница издала нервный смешок и закусила губу. Мы все были крайне заинтригованы и ждали продолжения. Даже вечно невозмутимый Рамендра вытянул свою худую шею и боялся пропустить словечко.

— Иносиси не просто проспал, — получилось у нее наконец. — Вы понимаете, когда большие иносиси хотят, чтобы у них появились маленькие иносиси, то они... они тогда... ой....

Ее снова заклинило. Пальчики судорожно сжали воротник блузки, а химические кудряшки одеревенели. Она окончательно впала в ступор.

Бенджамин привстал, недоуменно оглядел всех присутствующих, потер ладонью переносицу и уперся кулаками в парту. После чего громко и отчетливо спросил:

— Вы хотите сказать, что кабан занимался сексом?

Учительница дернулась, как от удара током, вспыхнула розовым и потупилась.

— Именно так, — пролепетала она, глядя в пол. — Поэтому он и опоздал.

Масштабы ее смущения были таковы, словно этот проступок совершила она сама, а не мифический ветхозаветный кабан. Словно мы были строгим педсоветом, вызвавшим проштрафившуюся ученицу на ковер. В воздухе повисла тяжелая, побудительно-страдательная неловкость. Никто не знал, как из нее выйти.

— А что было дальше? — спросила наконец одна из филиппинок.

— Дальше? — переспросила учительница потухшим голосом. — Дальше пришла кошка. Она опоздала, потому что мышка ее обманула, назвала неправильный день. И кошке ничего не досталось. С тех пор все кошки ловят мышек.

— Очень красивая легенда, — сказал парагваец Хосе. — Я буду рассказывать ее на ночь своей дочери. Спасибо вам.

Зазвонил звонок.

* * *

...Одинокий велосипед Бенджамина заносило снегом. Сидение, руль и педали были покрыты маленькими сугробиками. «Shit!» — проворчал Бенджамин, поднял своего стального коня в воздух и энергично потряс. Сугробики попадали вниз и смешались с декабрьской слякотью.

— Что-то я их плохо понимаю, — сказал Бенджамин. — Вот послушай. Летом меня тут водили смотреть какой-то храм, названия не помню. И там как раз был праздник. Представь себе картину: толпа полуголых мужиков на вытянутых руках несет огромный деревянный фаллос. А на нем сидят молодые девки, которые хотят выйти замуж. Полтора десятка девок, не меньше.

— И что?

— А то, что получается ерунда! Как на фаллосе верхом ездить, так это мы пожалуйста. А как сказку рассказать — так сразу на нас стыдливость нападает. Не клеится одно с другим.

— Восток... — сказал я. — Дело тонкое!

— Ага, конечно... Это только на Западе кабаны трахаются. А на Востоке они что-то такое делают, чего и вслух не выговоришь. Потом еще окажется, что слова здесь вообще неуместны, потому что это дзэн, или как там оно называется?

— Это, скорее всего, отголоски конфуцианства, — сказал я. — А фаллический культ — компонент синтоизма. Тут действительно много разного уживается, у них всегда так было. Синкретическая культура.

Он поморщился.

— Ох уж эта мне их культура... Голову сломаешь. Нет, мы с тобой решили — будем атеисты. Правильно?

— Конечно. Будем по субботам книжки читать.

— Ну, с Новым Годом!

— Пока.

Бенджамин налег на педали и рванул вперед, рассекая шлемом воздух. Его таз ходил туда-сюда маятником, плащ-палатка развевалась, как хитон Геракла, колеса пробуксовывали и плевались снежной жижей. Он доехал до перекрестка, пижонски накренился и исчез за поворотом.

Осторожно перебирая туфельками по слякоти, мимо меня прошла давешняя учительница. Я вытянул руки по швам и церемонно поклонился.

май 1999г.

Спевка

Весеннее расписание ускорило прибытие токийских поездов на десять минут. Я руководствовался зимним и осознал это только на подходе к станции, когда ухо вдруг различило наигрыш гармони, плывущий меж осыпающихся сакур. Вскоре открылась пустая платформа и посреди нее — приземистая фигура Потапова. Коротая время до прихода встречающих, он наяривал на своей трехрядке что-то переливисто-залихватское, со сложными каденциями и разухабистыми синкопами. Я немного послушал, потом взбежал по ступенькам и свистнул.

— Вадимушка! — вскричал Потапов, закинул трехрядку за спину и растопырил объятия. — Братушка!

Порыв ветра засыпал нас розовыми лепестками. Мы хлопали друг друга по спинам и головам, лепестки опадали под ударами и застревали в мехах гармошки. Платформа стонала и ходила под нами ходуном. Вволю нахлопавшись, Потапов вытряс лепестки из мехов и приобрел деловой вид.

— У нас с тобой четыре часа, — объявил он. — Программа будет такая. Сначала идем в нашу любимую баню и сидим там в пузырях. Потом берем бутылку сакэ и ищем место, где сакура еще не осыпалась. Садимся, культурно выпиваем, закусываем, исполняем песни Мокроусова. Потом сажаешь меня на последний поезд в Токио. Остался бы и на подольше — но завтра у меня доклад, а послезавтра уже в Корею.

— Экий у тебя плотный график, — сказал я. — Все расписано, как у американца.

— Я странствующий математик, — поправил меня Потапов. — Что мне еще делать, когда столько конференций? Короче, держи футляр, пошли в баню.

Баня располагалась недалеко, рядом с домом, где Потапов жил три года назад, в пору своей недолгой работы в нашем университете. Тогда мы регулярно наведывались в это славное заведение с пузырящейся ванной, приветливой хозяйкой и строгим завсегдатаем из местных работяг, следившим за тем, чтобы мы не мочили циновки в предбаннике. Нам было трудно этого не делать, мы всегда были до неприличия мокры и подолгу обсыхали на пороге мыльни. Строгий же завсегдатай глядел на нас свысока, являя собой превосходство желтой расы, представители которой способны в буквальном смысле выходить сухими из воды.

— Я, кстати, там мочалку забыл в последний раз, — вспомнил я. — Конечно, за три года могли и выкинуть. Но если вдруг не выкинули, то будет приятно.

— Никуда ее не выкинули, не сомневайся даже, — успокоил меня Потапов. — За что Японию люблю, так вот за это — о клиенте тут всегда помнят. Зайдешь, тебе сразу: «Давно не виделись» — и сервис по полной схеме. Причем неважно, сколько ты у них не появлялся — может неделю, а может десять лет. То есть, с одной стороны у них как бы прогресс, а с другой — этакая незыблемость.

— Что есть, то есть, — согласился я.

Потапов внезапно остановился.

— Так, погоди... Кажется, мимо прошли. Ну-ка назад, посмотрим. Вот дом, где я жил. Вот забор. Дальше была канава с цаплями — вот она. А сразу за канавой была баня. Выходит, вот это она и есть. Перекрасили, что ли?

Мы подняли головы и узрели красный щит с белым иероглифом «сакэ». Сквозь стеклянную дверь под щитом виднелись уставленные бутылками полки. Мы вошли внутрь, и нашему взору предстал рыжеволосый тинэйджер в замызганном фартуке и с серьгой в ухе.

— Да, была тут баня, — ответил он на наш недоуменный вопрос. — Год назад снесли, винный построили. Хозяйка в деревню уехала, дом там купила.

— Веселенькое дело, — сказал Потапов. — Стояла баня, никому не мешала...

— И мочалку мою выкинули, — добавил я.

— Да мочалка-то ладно, без пузырей останемся.

— Ничего, — сказал я. — Вон тут сколько пузырей. Мы ведь как раз собирались. Берем, или как?

— А что еще делать, берем конечно. Какого — прозрачного, мутного?

— Мутного не надо.

— Сладкого или горького?

— Что-нибудь между.

— «Нагураяма», «Ханахару», «Тэнко», «Эйсэн»...

— «Тэнко».

— Губа не дура. Семьсот двадцать?

— Семьсот двадцать.

— Или тыщу восемьсот?

— Столько мы до сакуры не донесем.

— Ладно. А может, сливовой?

— Ты бы еще сказал: может, сивухи?

— Боже упаси!

— Ну вот и хорошо. Теперь бы закуски.

— Мы извиняемся, как у вас тут насчет закуски?

Замызганный тинейджер скривился и помахал ладонью: мол, не держим.

— Что ж, — сказал Потапов. — Купим по дороге.

Мы вышли и огляделись по сторонам. Облетевшие сакуры зеленели свежими листьями.

— Плохо дело, — вздохнул Потапов. — Но ничего. Я помню, тут недалеко есть храмовая роща, она позже облетает. На пригорке потому что.

До пригорка мы добрались минут за десять. И в самом деле, он весь цвел. Розовые деревья лишь немного отливали зеленью едва показавшихся листочков. Промеж стволов обосновался массивный деревянный стол с двумя пнями вместо стульев.

— На этом месте три года назад, — торжественно сказал Потапов, — я доказал теорему Сидорова. Он мне потом поллитра поставил. И мы с ним сразу написали четыре статьи.

— А почему она Сидорова, если ты доказал? — спросил я.

— Он сформулировал, я доказал. Теперь она называется «теорема Сидорова–Потапова». Стаканы-то мы взяли?

— Бумажные. Вот, наливай.

— Жаль, холодное, — сказал Потапов. — Его бы, да горяченьким... Ну да ладно. Кампай!

— Кампай. За встречу!

Весеннее солнце подбиралось к изломанной линии гор на горизонте. С ворот синтоистского храма за нами бесстрастно наблюдали две вороны.

— Интересное дело, — сказал я. — Баню сломали, вместо нее винный магазин. Я вообще последнее время замечаю: больше всего строят винных магазинов и зубных клиник. С чего бы это?

Потапов взъерошил волосы и забарабанил пальцами по бутылке — так же, как барабанил когда-то, ломая голову над теоремой Сидорова.

— Какая-то зависимость, безусловно, есть, — сказал он. — Что первое приходит на ум? Когда сносят бани, люди перестают мыться — и заодно перестают чистить зубы. Зубы заболевают, люди их полощут водкой. А потом идут к зубному. Как тебе такая версия?

— Хм... Я бы сказал, версия несколько скороспелая.

— Вот именно. Какой делаем вывод? Восток непостижим!

— Ну да, — сказал я. — Аршином общим не измерить. Это не объяснение.

— Тогда ты объясни!

— Я думаю, все гораздо тривиальнее. Особенно с зубными клиниками. Это мода такая, из Америки. Модно быть дантистом, модно говорить: мой дантист, модно культивировать прямые зубы. Исторически они свои зубы красили в черный цвет, и было все равно, прямые они у них или нет. Потом красить перестали и долго ходили с белыми зубами, но кривыми. А когда им из Америки улыбнулся Шварценеггер, они прозрели.

— Так, — прервал меня Потапов. — Мы увлеклись. Промежуток между первой и второй должен быть значительным, но не превышать сорока секунд.

Он наполнил стаканы, и мы жахнули по второй.

— Продолжаю, — сказал я. — Перейдем к винным магазинам. Тут что характерно: их строят все больше и больше, тем временем как бары и прочие кабаки находятся в упадке. То есть, народ начинает пить по домам. Тоже как бы такая мода. Теперь вопрос: откуда эта мода взялась?

Потапов даже привстал.

— Ты хочешь сказать, что...

— Вот именно! Нас тут еще очень мало, но воздействие совершенно явственное! Только не совсем понятны его механизмы. Вот, скажем, сидим мы с тобой под сакурой и пьем. Ну и что? Они тоже иногда пьют под сакурой. А когда мы пьем на кухне, нас с улицы вообще не видно. То есть, взаимодействие идет на каком-то астральном уровне.

Потапов поправил очки и задумался. Потом спросил:

— А бани?

— По баням у меня статистики нет. Сломанную я только одну знаю.

— Да... — сказал он. — С банями неувязочка. Ну ладно. За астральный уровень!

Опрокинув третью, Потапов вытер усы, встал, потянулся и оглядел пейзаж с севера на юг. Заходящее солнце высвечивало незасеянные поля и играло в бурой черепице крыш.

— Эх! — крякнул он. — До чего ж у вас тут хорошо! Прям как в Переславле. Только ряпушка не водится, а остальное — просто копия. Ты в курсе, сколько я в этом году ряпушки наловил?

— Много наверное?

— Рекорд поставил. Кабы водилась у вас тут ряпушка, я бы согласился прожить здесь жизнь. А так не могу. На родину тянет. Тебя не тянет?

— Так я ж в ряпушке-то не понимаю...

— А, ну да... Тебе легче. Хотя тут и в самом деле благодать. Вот в Токио — там жить невозможно.

— Ты, кстати, где остановился?

— Да ну, лучше не спрашивай. Называется «Хисада Гранд-Отель». Пять звезд, двадцать этажей. На полу ковры, на стенах импрессионисты. Клоповник, одно слово. Причем я их, подлецов, просил, факсы слал: поселите меня в нормальную гостиницу. Чтобы каллиграфия в нише, чтобы спать на полу, чтобы бабушки на четвереньках... Так нет же, поселили в клоповник.

— Понятное дело, — сказал я. — Японцы... Разве им что-нибудь втолкуешь?..

— Во-во. Никакого с ними сладу. Давай-ка лучше выпьем.

Выпив по четвертой, мы вдруг осознали, что пьем без закуски.

— Как же это? — огорчился Потапов. — Я же собирался чего-нибудь местного... Сырой конины, например... Совсем забыли.

— Ну так давай допивать — и на поиски, — предложил я.

— Нет, мы еще петь собирались. Пару-другую песен — а потом уже за едой. Я, кстати, вчера в Токио нашел потрясающий ресторан. Первый раз в жизни с удовольствием ел натто.

— Чего?! — Я даже поморщился. — С каким таким удовольствием? Иностранец не может с удовольствием есть натто. Это знают все.

— А я тебе говорю, что ел с огромным удовольствием.

— Может, ты чего путаешь? Натто? Эти сопли из бобов?

— Именно. Тут самое главное — чтобы оно было не протухшее.

— Ха! — сказал я. — Это нонсенс. Натто — оно потому и натто, что протухшее.

— Отнюдь, — мотнул головой Потапов. — Оно, конечно, гнилое. Но протухшим оно быть не обязано.

— Не вижу разницы.

— Разница есть. Когда оно уже гнилое, но еще не тухлое — то даже иностранец способен есть его с удовольствием. А когда оно гнилое, да еще и тухлое вдобавок — то с удовольствием его могут есть только японцы.

— Это уже какая-то высшая кулинария пошла, — сказал я. — То мне Федька вчера про мясопуст рассказывал, то ты теперь...

— Федька еще здесь?

— А куда он денется... Ведет со мной душеспасительные беседы. Против буддизма. Опасается, что меня бонзы охмурят.

— Куда им... С нами крестная сила! — Потапов осенил себя знамением и разлил по стаканам остатки. — Давай по последней и будем петь.

Проглотив сакэ, он влез в ремни своей трехрядки. Солнце выпустило последний лучик и исчезло за горой. Вороны нахохлились, потрясли крыльями и приготовились слушать.

— На Во-о-о-олге широкой, — затянул Потапов. — На стре-е-е-елке далекой...

Я подключился:

— Гудками кого-то зовет парохо-о-о-од...

Сакэшная отрыжка мешала легким разойтись в полную силу. Но и того, что выходило, было достаточно, чтобы мощно разлететься по окрестностям. Какой-то лохматый мотоциклист тормознул у нашего пригорка, заглушил мотор и с минуту слушал. Узнав, что девушек краше, чем в Сормове нашем, ему никогда и нигде не найти, он снова затарахтел и умчался в поля. А мы голосили дальше — про летние ночки и про буксиров гудочки.

Когда песня кончилась, вороны переглянулись и каркнули.

— Хорошо, — сказал Потапов. — Истово поешь. Сейчас опять будет Мокроусов.

— «Вологда»?

— Нет. «Костры горят далекие».

— Это я не знаю. А помнишь, ты еще пел что-то такое про Сингапур?

— Кто пел? Я пел?! Я такого не мог петь, это уже Пендерецкий какой-то.

Фамилия «Пендерецкий» служила у Потапова собирательным термином для обозначения чересчур заумной музыки. Помимо нововенской школы, к адептам которой относился собственно Кшиштоф Пендерецкий, этот термин покрывал практически всю мировую музыку последних двух веков. Заведомо туда не входили лишь два титана, которым Потапов фанатично поклонялся — Амадей Моцарт и Борис Мокроусов. Все остальное математический ум Потапова отвергал. Надеяться на временную благосклонность могли немногие — Дмитрий Покрасс, Пол Маккартни или какой-нибудь Гайдн. Но даже и они в минуту нерасположения рисковали быть причисленными к Пендерецкому.

— Глаза у парня я-а-асные-е-е, — выводил Потапов. — Как угольки горя-а-а-щие-е-е...

Я представил себе парня с горящими угольками вместо глаз. Образ был сильный.

— В принципе, — сказал Потапов, закончив песню, — Дунаевский тоже был неплохой композитор. Вот смотри.

И он принялся терзать свою гармошку в ритме марша:

```
- Ой вы кони, вы кони стальные,
  Боевые друзья-трактора!
  Веселее гудите, родные,
  Нам в поход отправляться пора.
      Мы чудесным конем все поля обойдем
      Соберем и посеем и вспашем.
      Наша поступь тверда, и врагу никогда
      Не гулять по республикам нашим!
```

Вдруг песня прервалась.

— Вдумайся в слова! — сказал Потапов. — «Соберем», потом «посеем», и только потом «вспашем». Просто гениально!

Песня возобновилась:

```
- Ну-ка враг, ты нас лучше не трогай,
  Не балуйся у наших ворот,
  А не то встанет, грозный и строгий,
  Наш хозяин, советский народ!
```

Вороны опять каркнули и улетели.

— Слушай, — сказал я. — Может, уже пойдем за едой?

— Погоди, — запротестовал Потапов. — Еще «Вологду» не пели!

— Споем по дороге.

— Ну, ладно. Если мне не изменяет память, за этими полями был магазин. Только давай сначала боженьке денежку кинем. А то неудобно.

Потапов подошел к храму, кинул в ящик пять иен, дернул за веревку колокола и целых три секунды молился богу пригорка. После этого мы спустились вниз и зашагали по меже, разделявшей два незасеянных рисовых поля с пеньками прошлогодних кустиков. Сумерки сгущались. Гармошка отдыхала.

Межа привела нас к ухабистой грунтовой дороге. Две глубокие колеи были кое-где залиты водой после вчерашнего ливня. Мы выбрались на поросшую травой серединку и взяли курс на темневшее вдали скопление зданий, среди которых находился предполагаемый магазин. Потапов опять развернул меха, и мы грянули «Вологду».

На словах «в Вологде-где-где-где, в Вологде-где» позади нас раздался нечеловеческий рык. Мы обернулись и увидели слепящий свет фар. Какое-то транспортное средство двигалось прямо на нас, глуша песню неразборчивым ревом из громкоговорителя и требуя уступить лыжню. Не споря, мы расступились по разные стороны, и орущий драндулет промчался меж нами, обдав Потапова водой из лужи.

— Что за паскудство?! — возмутился Потапов, отряхивая мокрую штанину. — Мы в Японии или где?

— Это выборы, — объяснил я. — У них сегодня последний день агитации, вот они и торопятся, летают туда-сюда, агитируют кого еще не успели.

— Куда выборы, в парламент?

— В местные органы. Ты представить не можешь, как они меня достали. В семь утра начинают ездить под окнами со своей дурацкой пропагандой. И почтовый ящик весь забили. Скорей бы кончилось.

— Да уж... У нас и то культурнее. Взяли, облили... Никакого понятия.

Остаток пути мы проделали без песен. После непродолжительного плутания по огородам и задним дворам нашим глазам, наконец, открылись сияющие витрины заветного магазина «Family-Mart». У витрин сидели на корточках несколько молодых людей и что-то ели палочками из деревянных коробок. Недоехавший до Сормова лохматый мотоциклист пил баночный зеленый чай в седле своей машины. Крестьянского вида бабулька стояла, опершись на клюку. Все они рассеянно внимали звукам, раздававшимся с площадки перед магазином.

Источником звуков была передвижная агитационная точка. Ее центром служил аккуратненький микроавтобус с громкоговорителем на крыше. У автобуса стоял складной стенд с портретом кандидата, а рядом со стендом — элегантный агитатор в черном костюме, окруженный группой поддержки из четырех девиц средней фотомодельности, одетых на манер стюардесс. Они изо всех сил растягивали свои ротики в улыбки и прилежно махали ручонками в замшевых перчатках. Агитатор бубнил что-то в микрофон, и громкоговоритель выплевывал звуки, ловимые немногочисленной аудиторией.

— Ты японский-то помнишь? — спросил я Потапова.

— Поначалу казалось, что не помню, — ответил он. — Но за эти пять дней немножко освежил.

Лингвистические способности моего друга неизменно меня поражали.

— Только письменность совсем забыл, — пожаловался он. — Вот скажи мне, что это у них такое на автобусе написано. Не могу разобрать.

Я вгляделся в красные иероглифы на боку автобуса.

— «Нихон Кёсанто», — прочитал я. — «Коммунистическая Партия Японии».

— А-а-а! — закричал Потапов. — Ага! Так вот кто меня обгадил! А я-то думал! Теперь понятно. Так-так... И что же они имеют нам сказать?

Мы подошли поближе. Агитатор вещал:

— В области сельского хозяйства наш кандидат выступает за демократическую политику, которая сделает аграрный сектор ключевым в национальной экономике. Он осуждает послабления рисовому импорту и сокращение посевных площадей. Он будет бороться с монопольными ценами на сельхозтехнику и удобрения. Он будет всецело поддерживать движение кооператоров.

— Даешь колхоз! — крикнул я.

Агитатор запнулся было, но быстро вернулся в наезженную колею:

— Наш кандидат намерен выступить против увеличения налогов и падения заработной платы, против урезания пенсионных фондов и свертывания социальных программ, против снижения расходов на образование и культуру...

— А против закрытия бань? — спросил Потапов.

Вопрос остался без внимания. Нас игнорировали, идя по заученному тексту.

— ...За ликвидацию остатков женского неравноправия! За обеспечение достойной старости! За свободу демократических объединений молодежи обоих полов! За право голоса с восемнадцати лет!

— Yes! — крикнул лохматый мотоциклист и растопырил «козу».

Агитатор прервался, чтобы поклониться будущему избирателю. Тут встряли мы с Потаповым:

— Разрешите вопрос!

— Да, пожалуйста, — неохотно сказал агитатор.

— Скоро ли революция?

— Революция? — удивленно переспросил он и задумался, внутренним оком сканируя партийные документы. Чтобы завести нужную пластинку, потребовалось секунд пять. — Революция уже назрела! Уже скоро будут сброшены антинародные силы, управляемые американским империализмом и японским монополистическим капиталом! Уже скоро будет открыта дорога к коммунистическому обществу! Революция особенно близка сегодня, после падения советского гегемонизма, так долго компрометировавшего мировое рабочее движение!

— Во дела! — поразился Потапов. — «Советский гегемонизм»! Ну и ну...

— А что такого? — пожал я плечами. — Товарищи идут своим путем.

— Что да, то да. Надо бы товарищам помочь.

— Как именно?

— Ну, допустим, песней. Хорошо пойдет «Гимн коммунистических бригад».

Потапову не надо было влезать в ремни — гармонь на его могучей груди уже висела. Пальцы метнулись к кнопкам, зазвучали отрывистые маршевые аккорды, и под них — наши зычные голоса:

```
- Бу-дет лю-дям сча-а-а-стье!
  Сча-стье на ве-ка!
  У со-ве-тской вла-а-а-сти!
  Си-ла ве-ли-ка!!!
```

Агитатор быстро отказался от тщетных попыток нас переорать и лишь неловко переминался с ноги на ногу. Кандидат беспомощно лыбился со своего портрета. Девицы в перчатках и вовсе не знали, что им теперь делать.

```
- Сегодня мы не на па-ра-де!
  Мы к коммуни-зму на пу-ти!
  В коммунисти-че-ской бри-га-де!
  С нами Ле-е-е-е-нин впереди!!!
```

Потапов тянул меха так, как ни одному кандидату не снилось растянуть свою белозубую улыбку. Его мокрая штанина подергивалась в такт маршу.

```
- Мы ве-зде где тру-у-у-дно!
  До-рог ка-ждый час!
  Тру-до-вы-е бу-у-у-дни!
  Пра-здни-ки для нас!!!
```

Когда гармонь издала заключительный аккорд, молодежь вознаградила нас бурными аплодисментами. Мотоциклист растопырил сразу две козы, а бабушка с клюкой заулыбалась и закланялась. Мы тоже отвечали артистическими поклонами. Тем временем агитационная точка спешно сворачивалась — без единого слова благодарности за поддержку. Агитатор молча демонтировал стенд с портретом и влез в автобус, куда уже попрыгали его стюардессы. Взвыл мотор, машина развернулась, проехала два метра и остановилась — ибо поперек выезда с площадки стояли мы с Потаповым и исполняли «Марш защитников Москвы»:

```
- Мы не дрогнем в бою
  За столицу свою,
  Нам родная Москва дорога-а-а-а!
  Нерушимой стеной,
  Обороной стальной
  Разгромим, уничтожим врага!!!
```

Оксюморонческое разгромление врага обороной придало нам новых сил. Мы стояли плечом к плечу, с гармонью наперевес, как двадцать восемь панфиловцев, и сдаваться не собирались. На третьем куплете агитатор вылез из машины.

— Простите пожалуйста, — обратился он к нам сквозь песню. — Не могли бы вы нас пропустить?

Гармонь пискнула и умолкла. Потапов сложил на ней руки крест-накрест, свесил кисти вниз — и сделался похож на сфинкса.

— Три загадки! — напыщенно возгласил он. — Если отгадаете, пропустим. Загадка первая: каковы три источника и три составные части марксизма?

— Послушайте, — нервно сказал агитатор. — Нам очень нужно проехать. У нас дела, мы торопимся.

— Не дает ответа! — довольно отметил Потапов. — Тогда вторая загадка: что и как нужно брать — сначала мосты, а потом банки, или же сначала банки, а потом мосты?

— Я не понимаю, о чем вы говорите! — с мукой в голосе произнес агитатор, озираясь по сторонам. — Пожалуйста, пропустите нашу машину!

— Даже не понимает, о чем речь! — обрадовался Потапов. — В таком случае, третья и последняя загадка. Какие три сокровища завещал нам почитать принц Сётоку Тайси в своей «Конституции»?

Агитаторское чело озарилось робкой надеждой. Он еще секунду потоптался в нерешительности, затем наклонился к нам и прошептал:

— Будду, Закон и монахов...

— Браво! — воскликнул Потапов. — На все три загадки вы ответили адекватно, в точности как и требовалось. Не смеем более вас задерживать. Проезжайте, и пусть на выборах ваш кандидат победит!

Мы посторонились. Бедного агитатора как вакуумом всосало в кабину, дверь захлопнулась, и автобус пулей вылетел с площадки под исторгаемые потаповской гармонью звуки «Интернационала» и тарахтение мотоцикла, который понесся следом и пристроился сзади почетным эскортом. Молодежь улюлюкала. Бабушка махала клюкой.

В магазине нашлась сырая конина, рисовые колобки и соевый творог. Купленное уместилось на футляре от гармошки. Мы сидели с Потаповым на поребрике и закусывали.

— Как ты думаешь, — спросил я, проглотив кусок лошадиного мяса, — когда они свершат свою революцию, то императора стрельнут?

— Нет, — сказал Потапов. — Не стрельнут. Здесь уважают традиции.

— Так вот и я говорю: уважают. А революционные традиции требуют, чтобы монарха порешили. Традицию надо уважить?

— Надо. Поэтому его и не стрельнут. Его заставят харакири сделать.

— Хм... А принцессу?

— Принцессу, думаю, не тронут. — Потапов взглянул на меня. — Если, конечно, ты за нее вступишься.

Я молча потянулся палочками за рисовым колобком.

— Только ничего у них не выйдет, — сказал Потапов. — Вон, они даже не знают, в каком порядке чего брать... То ли с вокзалов начинать, то ли с телеграфа.

— Тогда зачем им все это? — спросил я.

— Что «зачем»? Депутатские кресла? Затем же, зачем и всем.

— Вот, а ты говоришь: «Восток непостижим».

— Так ведь я не про этих... Слушай, до поезда час, может возьмем еще одну?

— Семьсот двадцать?

— Семьсот двадцать.

— Или тыщу восемьсот?

— Или ее!

Из-за тучки вышла луна и просигналила: мол, упьетесь! Мы же и взглядом ее не одарили. Так всегда бывает весной, когда положено любоваться не луной, а цветами. Казалось бы, вишня осыпалась, можно теперь взглянуть и на небо — но нет, все ждут лета, когда будет дана такая команда. Луна обиделась, снова нырнула в облака и филонила там целый час, пока ей не стало интересно, упились мы или нет. Она вынырнула обратно, посветила тут, посветила там — и нашла нас на железнодорожной платформе. Потапов стоял, широко расставив ноги, и говорил осипшим голосом:

— Сакэ — напиток всем хороший, но вот одно в нем плохо. Скорее лопнешь, чем напьешься.

— В смысле: лучше было бы водки?

— Да ну... Пить под сакурой водку — моветон!

— А чего будем с остатками делать? — я тряхнул ополовиненной бутылью. — Может, с собой возьмешь?

— Не, у меня инструмент тяжелый.

— Так с ним везде и ездишь?

— Не то, чтобы везде... Вот, в Японию захотелось взять. Как бы я в Японию приехал без гармошки?

— Ну да, не с гитарой же под сакуру идти...

— Вот именно. А как душу отвели! Давай-ка напоследок еще Дунаевского.

Меха разъехались и заблестели под фонарем, как веер придворной дамы.

— Широко ты, колхозное по-о-о-ле! — загудел Потапов. — Кто сумеет тебя обскакаа-а-ать?

Я взял терцию:

— Ой ты, волюшка, вольная воля-а-а-а! В целом мире такой не сыскать!!!

Ритм отстучали колеса приближающегося поезда. Первый куплет бодро, а второй — с плавным снижением темпа до нуля. Вагонные двери раздвинулись, и вместе с ними в финальном аккорде сдвинулись меха. Гармонь нырнула в футляр. Потапов нырнул в вагон. Обняться не успели.

— Следующая спевка летом в Переславле! — проорал он сквозь стекло. — Жду!

Я пафосно потряс бутылью в тыщу восемьсот: мол, буду! Поезд тронулся.

— Под ряпушку!!! — успел еще прокричать Потапов перед тем, как смениться сначала мелькающими окнами, а потом неподвижными темными стволами по ту сторону путей.

Рельсы с минуту пошумели и затихли. Ветра не было. Платформа засыпала под одеялом из вишневых лепестков.

Завтра под окнами перестанут орать агитаторы. Послезавтра нальют воды на поля и засеют их рисом. В полях заквакают лягушки, и про них сложат трехстишия. Потом я поеду в Россию, и мы с Потаповым наловим ряпушки в Плещеевом озере. Все идет очень хорошо, когда уважаешь Будду, Закон и монахов.

Сидя на ступеньках платформы, я отхлебнул из горла сладковатой рисовой водки и подмигнул Луне. Она тоже мне подмигнула.

Мы отлично понимали друг друга.

август 1999г.

Прекрасная маркиза

По козырьку над входом в управление полиции лупил дождь. Я подрулил как можно ближе, заглушил мотор, выпрыгнул наружу, в два скачка пересек зону, которую простреливали небесные хляби, и толкнул стеклянную дверь. Сидевшие за приемной стойкой девицы сомнамбулически взглянули на мокрого гайдзина и уткнули свои носы обратно в бумажки. Я подошел к той, что выглядела серьезнее других.

— Здравствуйте. Мне тут повестка пришла...

С минуту она вдумчиво изучала мою повестку, водя по иероглифам карандашом. Затем подняла на меня вопросительный взгляд.

— Видите ли, штраф я уже заплатил. Разве это еще не все?

— Подождите пожалуйста, — сказала девица и удалилась в глубину служебных помещений. Минуты три я созерцал настенный календарь с фотографией августейшей четы на Всеяпонском Совещании по безопасности движения. Их Величества глядели на меня ласково и вместе с тем строго.

Когда девица вернулась, за ней следовал важный полицейский чин в синем мундире.

— А-а-а! — радостно закричал он, увидев меня. — Давно не виделись!

— Давно, — повторил я растерянно, пытаясь вспомнить, где мы с ним могли видеться.

— Как здоровье? — участливо осведомился он.

— Спасибо, хорошо. А ваше?

— Да как сказать... Поясница немного... Это от погоды. Дело-то к зиме идет, правда же?

— Да, — согласился я. — Дело идет к зиме.

— Что ни день, то холоднее.

— Совершенно верно.

— А еще недавно тепло было.

— Точно.

— Вот, скажем, неделю назад, когда я вас ловил, очень хорошая погода была.

— Как?

— Я говорю: хороший день был, когда я вас поймал за превышение.

— А, ну да... Вы тогда еще в фуражке были...

— Прошу садиться.

— Не ожидал вас тут увидеть. Думал, вы только на улице работаете.

— Когда погода хорошая, то на улице. А когда плохая, то здесь.

Будь он в фуражке, я его, конечно, узнал бы. Этот страж японского закона заинтриговал меня еще тогда — я никак не мог понять, кого он мне так напоминает. С чьего портрета утащил он этот мясистый с горбинкой нос, лесистые брови холмиком и дырочки глаз, с трудом проколупанные в перепаханном жизнью лице. Только теперь, когда он степенно опустился в кресло, поместив обширный живот между двух натруженных колен, и улыбнулся мне доброй хитроватой улыбкой, — я вспомнил. Ну конечно же, передо мной сидел вылитый Леонид Осипович Утесов на склоне лет. Именно таким я успел запомнить великого артиста, один раз виденного мною в глубоком детстве в передаче «Голубой огонек».

— Как подруга? — спросил он.

— Какая подруга? — не понял я.

— Ну, гаруфрэндо! Которая с тобой ехала. — Он поднял руки и запрокинул голову назад, изобразив сладкую истому спящей Венеры. Так в его воспоминаниях выглядела Дженни, загоравшая на травке у машины, пока он тиранил меня со своим протоколом.

— Это не совсем гаруфрэндо. Так, знакомая...

— Знакомая, — повторил он и расплылся в улыбке, точно готовый запеть «Как много девушек хороших». — Американка?

— Англичанка.

— Замечательно! Вы тогда как доехали? Без происшествий?

— Да, все нормально. Я, вообще-то, по повестке...

— Это не сюда повестка. Это в префектуральный центр.

— А зачем?

— Так ведь тут написано: для приостановки действия водительских прав.

— Как это? В суде мне сказали: штраф, пятьдесят тысяч. Я заплатил...

— Штраф — это само собой. Это по другой линии. Штрафы идут в бюджет. А мы занимаемся правами.

— На какой же срок мне их приостановят?

— Не знаю. Это там будут решать. Может, на месяц, может, на два. А может, на полгода.

Эх, Дженни, подумал я. «Катались мы с тобою, мчались вдаль с тобой»...

— Сильное превышение, — объяснил он. — Больше тридцати километров. — Весной было еще одно, поменьше, вот отметка.

— Помню, — сказал я. — Пятнадцать тысяч.

— Тогда тоже с англичанкой ехал? — спросил он и хитро сощурился. Он был большой психолог. Он почти угадал.

— С канадкой, — ответил я.

— Вот видишь... Теперь ничего не поделать. Закон! Дорогу знаешь?

— Тут карта нарисована, найду...

— Обратно тебе нельзя будет рулить. Ты уже без прав будешь.

— Как же быть?

— Возьми кого-нибудь. Гаруфрэндо возьми. — Он снова изобразил Венеру. — Пусть она тебя обратно отвезет.

— Она работает утром. Ей никак.

— Ну, возьми кого-нибудь другого. У тебя что, друзей нет?

— Все работают, — сказал я. — Поеду на автобусе. Туда автобус ходит?

— Ходит, только не так рано. Тебе ведь к восьми тридцати.

— А поезд?

— Сейчас узнаем. — Он подозвал одну из девиц. — Глянь-ка поезд на завтра.

Девица порылась в своих бумажках, нашла расписание и принялась водить по нему мизинчиком вправо-влево. Инспектор покосился на нее, нетерпеливо поерзал, затем наклонился вперед, поманил меня и зашептал:

— Ты это... Садись, да поезжай. Тут ведь недалеко, за полчаса доедешь. Только не паркуйся у них под окнами. В сторонке где-нибудь. И не гони, а то опять поймают, и тогда кранты.

Я смотрел на него недоверчиво. Видя мои колебания, он ободрительно подмигнул мне всем своим мужественным лицом.

— Да ничего страшного, все так делают! Нормально!

Это звучало примерно так же, как если бы Леонид Осипович Утесов, отыграв идеологически выдержанную программу из Соловьева-Седого и Дунаевского, на прощание забацал песню про двух урканов с одесского кичмана.

— Поезд очень неудобный! — сообщила девица.

— А нам его уже не надо! — весело ответил инспектор. — Разобрались!

Поднявшись со стула, он протянул мне обратно мою повестку, отечески оглядел меня с головы до ног и с мягким нажимом повторил:

— Не гони!

Идя к дверям, я чувствовал на затылке ласковый напутственный взгляд Императорских Величеств.

* * *

Стрелка спидометра держалась на пятидесяти. Дворники неспешно разгоняли влагу с лобового стекла. Я двигал рулем и размышлял.

Кто даровал представительницам западных демократий эту колдовскую власть над моим автомобилем? И кто лишил такой власти дочерей азиатского континента? Почему, стоит мне взять в салон американку или уроженку туманного Альбиона, как меня тут же стопорят за превышение скорости? В то время как коренных жительниц здешних мест я могу загрузить хоть полдюжины, без малейшего ущерба для водительских прав и кошелька. В чем тут закавыка?

Проще всего было бы малодушно свалить все на полицейских, обставив дело так, будто бы две иностранные физиономии за лобовым стеклом раздражают их сильнее, чем одна. Но трезвый взгляд свидетельствовал, что другие гайдзины преспокойно разъезжают на своих автомобилях с женами и детьми, а штрафов платят не больше моего. Или даже не платят вовсе.

Оставалось признать, что причина лежит в физиологии. Желаю я того или нет, но сидящая рядом леди с берегов Гудзона или Темзы всякий раз бомбит меня какими-то особыми флюидами, от которых во мне просыпается джигит и нарушитель. С другой стороны, почему мой джигит не просыпается в иных ситуациях? Почему он молчит в ответ на японские флюиды? Не означает ли это наличия во мне какого-нибудь скрытого, латентного расизма? Если так, то с этим нужно бороться. Нужно выдавливать из себя расиста. Нужно посадить в машину японку, выехать с ней на хайвэй и выжать сто семьдесят. Жаль, что у меня сегодня отберут права — придется ходить расистом лишний месяц, а то и больше.

Впрочем, нет. Если бы дело состояло только в принадлежности к европейской расе, то сюда подпадали бы и соотечественницы. Но они сюда не подпадают. Взять хотя бы Шишкину — ни единого разу не будила она во мне внутреннего джигита. Она, скорее, будила во мне внутреннего евнуха. А внутренний мой джигит имеет подозрительную англосаксонскую ориентацию. Следовательно, никакой это не расизм. Это гораздо хуже — это низкопоклонство перед Западом.

Точно. Вот, скажем, под какую музыку я сейчас еду? Под сборник лучших песен Бориса Мокроусова в исполнении моего друга Потапова. С этой музыкой стрелка держится на пятидесяти километрах и даже норовит съехать на сорок. А если вынуть Потапова и засунуть какого-нибудь Ван Халена, или Роббена Форда, или, там, Чаку Хан, — стрелка моментально подскочит до семидесяти. Если же к музыке присовокупить разбитную западную леди, которая будет подпевать, подщелкивать пальцами и косить на меня веселым глазом, — то тут уж и сотней не обойдется, тут уж подымай до ста двадцати и жди, пока на дорогу выскочит Леонид Осипович и замашет своей дурацкой палкой.

Стало быть, надо бороться с низкопоклонством. Надо навести порядок в бардачке с кассетами. Выкинуть оттуда все эти буги-вуги с фанки-блюзами, все эти рокабилли с босановами, весь трэш и весь гранж, всю самбу и всю румбу. А взамен наложить Александры Пахмутовой, Ивана Козловского и Юрия Богатикова. Тогда появится шанс на то, что подруга соскучится, заклюет носом, вместе с ней закимарит мой внутренний джигит, — и тогда я протелепаю мимо полицейского поста вызывающе медленно, пристегнутый на все ремни и пуговицы, скалясь инспектору в открытое окно и глуша его песней «Валенки» в исполнении Лидии Руслановой.

А протелепав, на прощание бибикнув и скрывшись за поворотом, — я сброшу валенки в бардачок и заведу третий альбом Лед Зеппелин, который открывает знаменитая «Immigrant Song», «Песня гайдзинов». И, когда призывно загрохочут барабаны великого Бонзо, я пришпорю дроссель, взнуздаю бензонасос, хлестну коленвал, пригнусь в галопе — и поймаю левым виском обжигающий взгляд пробудившейся спутницы.

* * *

Так вырастает Пирамида Хеопса перед взором изумленного бедуина. Так моряк-подводник в ужасе отшатывается от перископа, вплотную увидав обшивку вражеского крейсера. Так возник передо мной, явившись из дождя и тумана, Префектуральный Центр Водительских Прав.

Это был гибрид Пентагона и Кремля. Многоэтажная громада из серого бетона с прилепившейся к ней гигантской каланчой в стиле ложного барокко. Казалось, ландшафт трещит и стонет под железной пятой этого архитектурного монстра, подмявшего под себя рисовые поля и огороды с редькой. Рассыпанные окрест фермерские домишки в ужасе взирали на непрошенного гостя, но не находили в себе моральных сил попросить его вон. Там и сям между домишками спрятались и затаились автомобили нарушителей. Они думали, что с каланчи их не видно.

Приехал я поздновато — все мыслимые и немыслимые потайные места были забиты. Оставлять машину где-нибудь совсем далеко означало бы вымокнуть под дождем и опоздать. Поплутав по местности минут десять, я отчаялся, произнес волшебное слово «авось» и зарулил на стоянку Центра. Она была наполовину заполнена автомобилями предусмотрительных граждан, приехавших со своими женами, друзьями и гаруфрэндами. Я встал поближе к выезду, под самой каланчой, уподобясь птичке, которая ковыряется в зубах у бегемота.

За двойными стеклянными дверями меня встретила шеренга из четырех недурных собой молодых гаишниц. Радушно и синхронно поприветствовав меня, они задали вопрос:

— Лекцию слушать будете?

— А что, обязательно? — поинтересовался я.

— Все слушают.

— И это долго?

— Три часа.

Чуть поколебавшись, я согласился. Как-никак, после лекции я выйду на улицу в толпе. За толпой уследить труднее. Меньше риска. А три часа вытерпеть можно.

Гаишницы выделили из своего состава провожатую, которая отвела меня на второй этаж, к окошечку с надписью «Касса».

— Тринадцать тысяч иен, — сказало окошечко.

— За что?

— За лекцию.

Скрипнув зубами, я заплатил. В следующем окошечке у меня изъяли права, еще в одном — дали заполнить анкету. Провожатая довела меня до лекционного зала, вручила жетон с номером 205 и распрощалась. Я отыскал двести пятое место, уселся за парту — и лекция началась.

Широкий амфитеатр лекционного зала сходился уступами к кафедре. Нарушители заполнили его равномерно и плотно. Сразу несколько полицейских чинов, рассредоточенных по периметру, держали аудиторию в поле зрения. Вид у них был строгий, доброжелательный и неподкупный. Они вели себя подчеркнуто статично и скромно, они работали кордебалетом, оттеняющим достоинства солиста. А солист — тот старался за десятерых.

Это был настоящий Аркадий Райкин. Он показывал сразу всех и вся. Он был водителем и регулировщиком, грузовиком и мотоциклом, светофором и шлагбаумом, ревом мотора и визгом тормозов. Он крутил руль и выжимал газ, играл в мячик на проезжей части и перебегал на красный свет, давил пешеходов и бывал задавлен сам. Он последовательно перевоплощался в разудалого лихача, горького пропойцу, невнимательного чайника и злостного хулигана — чтобы затем предстать перед нами в облике сурового инспектора, нахмуренного врача, рыдающей жены и растерянных соседей. Театр Кабуки дорого заплатил бы за такого многогранного артиста — но здесь, видимо, платили больше.

Призрак великого русского сатирика витал над кафедрой целых полтора часа.

«В Греческом зале, в Греческом зале... Тьфу-тьфу-тьфу, извините, я на вас наплевал... Я плохо кофорю по-русски, я приехал сюда из Петрозафодска... Езда со скоростью — поверьте! — почти всегда пдиводит к смедти... Ах, Аполлон, ах, Аполлон!..»

Объявили десятиминутный перерыв. Благодарная публика наградила оратора аплодисментами, зашебуршалась и потянулась к дверям. Я тоже счел за благо слегка размяться. Заполнившие коридор нарушители чиркали зажигалками и выпускали в кондиционированный воздух мутные табачные выхлопы. Сквозь дым виднелись автоматы с питьем. Пробившись сквозь толпу курильщиков, я сунул в щель три дырявые монетки по полсотни иен и заполучил банку кока-колы. Она была увесистой и запотевшей. Из дырки, как из сопла огнетушителя, хлынула бурая пена. Я с хлюпом подобрал ее губой, втянул жидкости, дал погулять во рту и отправил внутрь.

Курильщики продолжали чадить. Они делали это отрешенно и задумчиво. Дым окутывал их седеющие головы и серые пиджаки. Картинка была бы черно-белой — если бы не единственное цветное пятно.

Пятно находилось в двух метрах от меня и тоже предавалось табакокурению. Сигарета смотрела вверх, будучи небрежно зажата пальчиками, ногти на которых были покуда короче самой сигареты, но по мере докуривания грозили стать длиннее. Изумрудно-ядовитую зелень ногтей оттеняли многочисленные колечки — блестящие и тускловатые, с камушками и без — на одном лишь мизинце я насчитал их три штуки. Дальше следовали браслеты, доходящие до бицепса. Они строго соответствовали семи цветам радуги, но шли вразнобой — «фазан знать желает, охотник сидит каждый где». Их мельтешня находила успокоение на плече, где притулился маленький скорпиончик, вытатуированный в скромной палитре трех цветов светофора.

Я отхлебнул еще кока-колы и продолжил осмотр. Самое интересное располагалось внизу — там, где кончались ноги. Они кончались сантиметров за тридцать до пола, а дальше шли платформы. Хотя это уже были никакие не платформы — это были самые настоящие ходули. Они занимали половину от высоты сапог. Верхняя же половина имела раздутый клоунский носок и шнуровку по всему голенищу. Все это сообщало обуви модный и современный вид. Из сапог выглядывали две худые ноги, которые причудливыми линиями тянулись вверх, исчезая под оранжевой мини-юбкой. Затем из юбки выныривали несколько сантиметров открытого живота, уходившие под розовую маечку. Поперек маечки, на ровной, ничем не возмущаемой поверхости, размашистыми синими буквами было начертано:

`DON’T   FUCKING  !!!`
`KILL   YOUR   SELF  !!!`

Я набрал полный рот кока-колы и с полминуты пялился на диковинную надпись, пытаясь проникнуть в ее смысл. У меня ничего не получилось. Тогда я проглотил колу, и перевел взгляд чуть выше. Глаза тут же запутались в бусах и ожерельях. Ниточки и шнурочки, цепочки и ремешочки, крестики и пацифики, камушки и ракушки — все это составляло какой-то единый большой колтун. Выбивался из колтуна только сотовый телефон, который свисал до самого пупа.

Обладательница всего этого хозяйства не обращала ни малейшего внимания на мой сверлящий нескромный взгляд. Устремив к потолку граммофонные раструбы накладных ресниц, она чувственно выпячивала перламутрово-сизые губы, жадно охватывала ими сигаретный фильтр, истово затягивалась и расслабленно выпускала струйку дыма. Ничего значительнее, выше и чище этого процесса для нее на текущий момент не существовало. Только так надлежало курить девушке из породы гангуро.

А она была настоящей гангуро. Строго говоря, ее гангуровость бросалась в глаза мгновенно, значительно быстрее, чем все браслеты, ракушки, ходули и скорпионы, вместе взятые. Ибо так уж инертно наше сознание, так уж плохо мы поддаемся императивам цивилизации и политкорректным уговорам, что по старинке норовим подметить в человеке не что-нибудь этакое важное, а всего лишь цвет его кожи. Сначала цвет кожи, а уже потом — какие на человеке татуировки и на каких он передвигается ходулях. В нас еще очень много латентного расизма.

Генетически она принадлежала к желтой расе. Но слово «желтый» имело к ней не больше отношения, чем слово «белый» имеет к белому вину. Ее руки, ноги, лицо и живот были выкрашены в цвет кофе с капелькой молока. Будь она лошадью, ее отнесли бы к саврасым — или даже гнедым. Загореть до такой степени можно было только за год непрерывного лежания на песке Сахары — либо за несколько сеансов облучения в солярии, с продуманным наложением специального крема. Вторая версия казалась более убедительной. Сахара была далека, а солярии — близки и многочисленны, особенно теперь, в пору триумфального шествия этой странной моды.

С тех пор, как гангуро-гару, «чернолицые девушки», замелькали на улицах японских городов, я много раз задавался вопросом об их идеологических корнях. Какая сила бросала десятки тысяч молодых девок под кварцевые лампы? Что они хотели этим выразить? Под кого шел закос? Я приставал с расспросами к самым разным людям, которые казались мне сведущими — и всякий раз получал разные ответы. Одни усматривали в этом феномене таинственный зов Африки, находя его то в темнокожей супермодели Наоми Кэмпбелл, то в музыке хип-хоп. Другие ссылались на поп-звезду Намиэ Амуро, окинавскую внучку итальянского дедушки, которая первой додумалась чернить лицо и осветлять губы, становясь похожей на негатив. Третьи многозначительно произносили: «Мода!» — и постукивали себя пальцем по лбу. Единого мнения не наблюдалось.

Теперь, увидев перед собой этот замечательный экземпляр, я вновь задумался. Дело в том, что экземпляр имел в своем строении одно заметное отличие от виденных мною ранее. Попадавшиеся мне доселе чернолицые девушки меняли цвет не только кожи, но и волос. Для достижения полной негативности волосы обесцвечивались, делались рыжими, льняными, седыми, а как редкий случай — синими. У этой же волосы не просто оставались черными — они еще были заплетены в полсотни растаманских косичек. Само по себе это не было чем-то невиданным — мне приходилось встречать японок, фанатеющих от Боба Марли и ходящих круглый год в бесформенных вязаных шапках. Ничто не мешало им для полноты имиджа добавить косички — и некоторые действительно добавляли. Но только косички, не загар! Ни единого разу я не видел, чтобы самозабвенная любовь к ямайским ритмам сопрягалась бы с эстетикой гангуро.

Теперь же новый поворот темы ставил все на свои места. Африканская версия обретала логическую завершенность. Черная музыка — черная кожа. Мы будем слушать и будем загорать. Черные братья заплели дредлоки — мы тоже заплетем. Черные сестры высоки ростом — ничего, встанем на ходули и сравняемся. А когда выбелим губищи синей помадой — то вообще станем как вылитые, родная мать не отличит. Такая последовательность мыслей была мне вполне понятна и даже чем-то симпатична.

Конечно, частный случай мог и не отражать сути всего явления. Даже наверняка он ее не отражал. Ведь тысячи других девиц ходили рыжими, а косички видали в гробу. Но то были девицы, тупо следующие моде, с вялым воображением и боязнью оказаться «не как все» — а тут передо мною стояло и курило живое воплощение независимой мысли, олицетворенный вызов стадному инстинкту, ходячая модель нонконформизма и преданности идеалам. Каждая ее косичка кричала, что любимой музыке можно и нужно отдать решительно все — вплоть до расовой самоидентификации. Каждая ее затяжка раскачивала межкультурные барьеры и сдувала с мозгов пену национальных предрассудков. И с каждым глотком кока-колы я проникался к ней все большей и большей симпатией.

К последнему глотку сигарета в ее пальцах стала короче ногтей. Вертя в руках пустую банку, я шагнул к мусорному контейнеру, прицелился — и неожиданно встретился с ней глазами.

— Хеллоу, систер! — сказал я.

Она вынула сигарету изо рта и посмотрела на меня, как самурай на вошь. Мастью я определенно не вышел. Тут требовалось быть гнедым — а я был каким-то чалопегим. Не помогла ни кока-кола, ни улыбка до ушей.

Окурок полетел вслед за банкой. Она похлопала ресницами, словно прогоняя нелепое виденье, потом легонько оттолкнулась от стены и двинулась обратно в зал, куда уже порулили отдохнувшие нарушители. Ее походка напоминала игрушечного бычка на наклонной доске.

Публика заняла места — и снова начался театр эстрадных миниатюр.

«Давайте же с вами рассмотрим, как он устроен — этот Проклятый Самогонный АППАРАТ!.. Это ж двадцать два бугая!.. Кто свистнет, кто звякнет, кто стукнет, кто брякнет... Вкус — спецфицкий!»

Лектор был упоен и блистателен. Аудитория внимала ему, затаив дыхание.

«Тут у меня и с конусом, и со змеевиком... Балеринушка-лошадушка, крокодил кривоногий... Ты привяжи к ней динаму, пущай ток дает!.. Родил — на том спасибо!... И мы кидаем эти снасти в воду, и динамит взрывается...»

Еще полтора часа пролетели, как соловей над Камой. Сорвав напоследок бурную овацию, лектор уступил кафедру главному церемонимейстеру, который объявил перерыв на обед. После обеда надлежало разбиться на группы и приступить к сдаче экзамена.

Несколько сбитый с толку известием об экзамене, я позволил толпе подхватить себя и унести в сторону столовой. Там потчевали комплексными обедами. Сидя над своим подносом и вдыхая пар, поднимавшийся из плошки с рисом, я краем глаза следил за давешней чернолицей нарушительницей в другом конце зала. Было видно, как непросто ей при таких ногтях держать палочки.

Экзамен начался с психологического тестирования. Вся наша группа сидела, высунув языки, и письменно отвечала на каверзные вопросы.

«Существенна ли для вас марка вашего автомобиля?»

«Помните ли вы наизусть технические характеристики двигателя?»

«Ограничены ли возможности вашей машины качеством японских дорог?»

«Считаете ли вы, что быстрое автовождение повышает вашу сексапильность?»

Я раскусил их коварный замысел и на все вопросы отвечал отрицательно.

«Заносит ли вас на поворотах?»

«Не заносит».

«Знакома ли вам фамилия Шумахер?»

«Незнакома».

«Вы ненавидите пробки?»

«Я их люблю».

Наши листочки собрали и унесли, а нас запустили в специальный зал и рассадили на тренажерах. Они были словно выпилены из настоящих машин весьма дорогостоящих марок — только вместо лобового стекла висел дисплей.

По команде экзаменатора я завел мотор и как бы тронулся. По дисплею побежала разметка. Вдали на краю тротуара стояли две фигуры. «Это неспроста», — подумал я и сбавил скорость. Решение оказалось верным. Едва я подъехал к ним поближе, как они со всей дури кинулись мне под колеса. Я врезал по тормозам и уберег их от верной смерти. Тем временем с соседних тренажеров доносились стуки и крики — виртуальные самоубийцы гибли под колесами тех тестируемых, чья реакция была хуже.

«Каково ей с ее ходулями жать сейчас на педали?» — подумал я.

Второе и третье задание касались маневрирования. Они были проще и крови не вызвали. Сложным оказалось четвертое. Выполняя его, я должен был подъехать к перекрестку и повернуть направо. Сделать это мешал огромный встречный грузовик, который следовало пропустить. Он стоял с той стороны перекрестка и трогаться не желал. Я мигнул ему фарами. Он мне тоже мигнул. Я бибикнул. И он бибикнул. Я махнул рукой. На повторение этого действия его электронных мозгов не хватило. Мои товарищи уже все с грохотом поразбивались и ждали меня. Грузовик все не двигался. Тогда я осторожненько газанул и медленно начал входить в поворот перед его носом. В ту же секунду из-за грузовика вылетел шальной мотоциклист, тупо стукнулся об меня и картинно растянулся на асфальте. Экзамен завершился.

Нас снова завели в лекционный зал и велели ждать. Мощные компьютеры обрабатывали наши данные. По каждому из нас вычислялся индекс лихачества и коэффициент пофигизма, градус антипешеходности и степень тормознутости. Строились таблицы, и рисовались графики. Результаты заносились в базу данных. Мы терпеливо ждали.

Наконец, в дверях появился гонец с охапкой распечаток. Их раздали по рукам. В моей анализировались причины аварии — компьютер полагал, что я должен был трогаться еще медленнее. Спорить с компьютером не хотелось. Тем более, что оценку он мне поставил не самую низкую.

На кафедру взошел очень важный гаишник — видимо, изрядный чин.

— В соответствии с параграфом восемь статьи сто третьей Правил Дорожного Движения, — сказал он со значительностью, — нарушители, прослушавшие лекцию и сдавшие экзамен, лишаются прав на укороченный срок. А именно: на один день. Раздача прав состоится сию же минуту.

Это было для меня неожиданным и приятным сюрпризом.

— Цугава Кацуо Сан! — возгласил гаишник первое имя.

С задних рядов к кафедре просеменил седовласый дедушка. Он принял вожделенную карточку, поклонился и заспешил к выходу.

— Сагава Мацуо Сан!

Из второго ряда вынырнул чернопиджачный клерк с волевым подбородком, получил права и исчез в дверях.

— Агава Нацуко Сан!

Над рядами причесанных голов выросла расхристанная метелка ямайских дредлоков. Чернолицая девушка по имени Нацуко, осторожно перебирая ходулями, начала опасный спуск вниз по ступеням амфитеатра. Неловкое падение с вывихом голеностопного сустава было так близко, так грубо и зримо, что весь зал следил за ней с замиранием. Свой путь она проделала почти безупречно — лишь один раз ей пришлось ухватиться за чей-то стол, едва не обломав ногтей. Пластиковая карточка стала ей наградой за смелость и ловкость.

Дойдя до следующего имени, гаишник насупился, наморщился, покрутил головой, подвигал губами. Потом медленно произнес:

— Уадыму Суморэнсуки Сан...

И растерянно оглядел аудиторию.

— Хай! — воскликнул я, сбежал вниз и встал перед ним навытяжку.

— Вот, пожалуйста, — протянул он мне права. — Будьте осторожны.

— Спасибо. Уже можно водить?

— Можно. С завтрашнего дня.

— А сегодня?

— Сегодня нельзя. Вот, тут у вас отметка стоит.

— А... Понятно...

Он нахмурился, напыжился — и со всей возможной вескостью повторил:

— Сегодня — НЕЛЬЗЯ !!!

Его строгий взгляд чуть не прожег мне дырку во лбу.

* * *

Моя серебристая Хонда ждала меня у подножия каланчи, после дождя вся покрытая блестящими капельками. Садиться за руль я не торопился — ждал, пока стоянка заполнится народом, сделав меня незаметнее. Амнистированные нарушители мало-помалу вылезали на улицу. Кто уходил в поля и огороды, кто собирался у остановки автобуса, кто ловил такси. Иные звонили женам и гаруфрэндам с просьбой приехать и забрать.

Пока их не накопилось в достаточном для маскировки количестве, я изучал каланчу. Ее функциональное назначение было мне совершенно непонятно. Стены состояли из бетонных блоков с квадратными отверстиями, сквозь которые виднелась лестница, спиралью уходящая ввысь. На нее хотелось подняться — но специальная надпись запрещала посторонним вход внутрь. Что делали внутри непосторонние, оставалось загадкой — ведущую к лестнице дверь явно не открывали целую вечность. На двери висел заржавевший амбарный замок, а сама она была вся исписана похабными иероглифами. У огороженных палисадником стен во множестве валялись окурки и банки из-под кока-колы.

Я поразмышлял о тщете глупых устремлений нашего железобетонного века. О технократическом безумии и о забвении святынь. Здесь мог бы сейчас стоять деревянный синтоистский храм и торговать амулетами от дорожно-транспортных происшествий. На замок его не запирали бы, а вокруг бы не гадили. Бросали бы пятачки, дергали бы за веревочку, общались бы с богом дорожного движения. А потом, умиротворенные и тихие, рулили бы восвояси — медленно и ненапряжно, без амбиций и претензий, без суетных помыслов о кубиках и лошадиных силах.

Увы нам, заблудшим. Увы, богооставленным. Наш удел — не пятачок и не веревочка. Наш удел — тринадцать тысяч иен за выступление Аркадия Райкина и бетонная каланча, от которой хочется убежать на пятой передаче, у кого она есть. А у кого нет — тихонечко уползти на цыпочках. Чтобы не поймали и не опустили на новые тринадцать тысяч.

Боги не живут в башнях из бетона. Боги могут жить только в одноэтажных деревянных строениях. Это понимали даже древние. А нынешние архитекторы этого не понимают. У нынешних архитекторов одна забота — освоить проектные деньги. Храм ты строй хоть из палисандра — всего фонда не освоишь. А тут одна каланча, и бабки подбиты. И никому нет дела до того, что бог дорожного движения летает по небу бездомный.

Я взглянул на небо. Бога спрятали тучи. Каланча нависала надо мной, как голова бронтозавра. На выход мимо меня двигались машины, ведомые женами и гаруфрэндами. В окнах главного здания ничего подозрительного не наблюдалось. Пора было садиться и ехать.

На самом выезде со стоянки мне пришлось затормозить. Где-то впереди зажегся красным светофор и остановил всю цепочку. Его было плохо видно, и я высунул голову в окно. Но увидел совсем другое.

У края дороги стояла чернолицая девушка по имени Нацуко и звонила по сотовому телефону. От меня до нее снова были два метра — и с них я разглядел пупырышки гусиной кожи на ее оголенном животе. Она мерзла. Губы из сизых превратились в белые. Сочленения ног с ходулями тряслись, как колени штангиста. Даже трехцветный скорпиончик на ее плече — и тот съежился от холода.

Девушки гангуро исповедуют и провозглашают вечное лето. Но в гористых районах северно-восточной Японии очень непросто следовать этому девизу. Поэтому здесь они встречаются реже, чем на равнинах юго-запада. А те, которые встречаются — настоящие подвижницы, готовые заживо замерзнуть. Под метелью, под наледью, под минус десятью — у них вечное африканское лето. Мини-юбка навсегда.

Телефон у нее не отвечал. Она оторвала его от уха, потыкала в кнопки суставом согнутого пальца, снова приложилась — бестолку. Абонент вымер как вид. Дрожа всеми своими колечками, цепочками и косичками, она затравленно повела вокруг взглядом — и наткнулась на меня.

— Садись! — сказал я. — Подвезу.

На мгновение она перестала дрожать, так сильно я ее удивил. Тем временем светофор сменился на зеленый, и поток тронулся. Впереди образовалась брешь.

— Садись, — повторил я. — Холодно ведь!

Она затряслась пуще прежнего. Сзади бибикнули. Я проехал несколько сантиметров и снова встал.

— Поедешь?

Она двинулась походкой зомби вокруг моей машины. Я открыл ей дверь. Она села, втянула внутрь ходули, захлопнулась — и мы стартовали.

— Тебя везти-то куда? — спросил я.

— Курить можно? — был ответ.

— Можно.

Дрожа ногтями, она воткнула сигарету меж одубевших губ и судорожно щелкнула зажигалкой.

— Куда ехать? — повторил я вопрос.

Она затянулась, медленно повернула голову в мою сторону, два раза хлопнула ресницами и сказала:

— Вот скотина какая...

— Кто? — не понял я.

— Бойфрэндо.

— Не приехал за тобой, что ли?

— Ага... Убью гада.

— Ты где живешь?

Она снова затянулась, немного подумала и сказала:

— А ты где?

Единственно верный ответ сразу пришел мне в голову.

— У жены.

— М-м-м-м-м... — понимающе промычала она и еще раз затянулась.

Из динамиков лились звуки гармошки.

— Милый мой живет в Казани, — голосил Потапов, — а я на Москве-реке...

— Слушай, — сказал я ей. — Может, тебя до бойфрэнда подкинуть? Раз уж ты его убивать собралась. Я бы тебе помог...

— Зараза! — крикнула она, схватила сотовый и опять принялась звонить. И опять безуспешно. Бойфрэндо куда-то подевалось.

— А куда мы едем? — спросила она, выключив телефон.

— А куда тебе надо?

Ответ потребовал некоторого времени.

— Поедем караоке петь, — объявила она после раздумья.

— Нет, — сказал я. — Не пою, безголосый.

— Тогда поедем гамбургеры есть.

— Обедали же недавно!

Она посмотрела на меня разочарованно.

— Ты скучный... У тебя квартира с телевизором?

— ...Об Ванюше размечталась, — горланил Потапов, — до Казани доплыла!..

— С телевизором, — сказал я.

— Это кто поет?

— Мой друг.

— А хип-хоп у тебя есть?

— У меня есть песня «Убили негра».

— Фу!

— Поищи сама, — я махнул рукой в сторону бардачка. — Может, найдешь чего.

При попытке открыть бардачок у моей попутчицы отклеился ноготь. Бормоча ругательства, она полезла его искать. Плечи провалились меж двух коричневых коленок, торчащих высоко, как у сверчка. Косички свесились до самого коврика. Доносилось пыхтение и жалобы.

Я тем временем вырулил на широкую и прямую четырехполосную дорогу. Каланча давно скрылась из вида. До дома оставалось минут двадцать. Все шло нормально.

Ноготь не отыскался. Девушка по имени Нацуко вернулась в вертикальное положение, несчастная и надутая. Взглянула на дорогу, потом на меня, потом на спидометр.

— Медленно едешь!

— А зачем быстрее?

— Люблю, когда быстро. И бойфрэндо любит.

— А я не люблю.

— Скучный ты какой-то...

— Лучше скажи, куда тебя везти.

Она не ответила. Она безотрывно смотрела на дорогу, точно силясь что-то разглядеть. И вдруг прошептала:

— Солнце...

В сотне метров впереди кончалась тень от тучи, под которой мы ехали. Дальше начиналась солнечная полоса — мы должны были въехать в нее через считанные секунды. Но не тут-то было. Туча плыла по небу с той же скоростью, что и мы. Размытый край тени улепетывал от нас, как фантик на веревочке. Дитя лета, сидевшее рядом со мной, не могло выдержать этой пытки. Оно обратило ко мне свои глаза — и в этих напомаженных, оклеенных ресницами и присыпанных блестками глазах я прочел отчаянную мольбу.

— ...В нашей жизни всякое бывает, — неслось из динамиков. — Набегает с тучами гроза...

Потапов не годился. Здесь Потапов определенно не тянул. Требовалось что-то другое. Я потянулся рукой к бардачку — и наткнулся на острые коленки. Доступ к бугам и вугам был заблокирован. Тогда я просто нажал кнопку FM. По местному радио могли гонять что-нибудь подходящее.

Воздух в салоне завибрировал от пронзительного свиста японской флейты. Ее виртуозно-тоскливый пассаж затих — и сразу рявкнуло с десяток крепких мужских глоток. То ли «Ух!», то ли «Эх!», то ли нечто среднее — мол, дадим вам прикурить, держитесь! И следом дробь одинокого исполинского барабана — сначала тихая и частая, сливающаяся в гул, а потом потихоньку все разборчивее, все громче, все яростнее. Последний удар был страшен, он предвещал недоброе — и не зря, ибо сразу после него случилось вот что: из плывущей над нами тучи вынырнул бог дорожного движения, подлетел к нам сзади и дал пинка под бампер.

Не успели остальные инструменты вступить, как их перекрыл рев моего двигателя. Его бесхитростное соло подчинило себе рваный барабанный ритм. Ребята не удивились, они знай себе лупили палками по воловьей коже, знай рассыпались дробным грохотом. Я же налег на педаль газа, приблизился к заветной черте, уже был готов пересечь ее — но тут бог снова взмыл вверх и изо всех сил дунул туче в паруса.

— Не пошел в храм?! — орал он мне сверху. — Не купил амулет?! Пятачок в ящик не бросил?! Теперь побегай!

— Так ведь храма-то не было, боженька! — кричал я в окно.

— Ничего не знаю! — отвечал боженька и дул на тучу.

— Поймают же меня!

— И правильно сделают! — Бог снова спланировал вниз и дал мне второго пендаля. В крови моей закипел адреналин, я разозлился на бога, разозлился на тучу, разозлился на весь мир — и выжал газ до самого упора.

Ускорение вдавило нас в спинки кресел. Двигатель застонал, набирая новые обороты. Мы разгонялись по пустой правой полосе, минуя идущих по левой. Вжик... Вжик... Вжик... Убежавшая было граница света и тени приближалась опять — и божеской дыхалки уже не хватало, чтобы ее отодвинуть. Ближе... Еще ближе... Вот оно, уже на капоте... Ну!..

Есть! Мы вырвались из промозглой осени под солнечные лучи, в объятия уходящего лета. Барабаны грохотали, как стадо бизонов. И впереди этого стада безудержным галопом неслись двое — саврасая кобылица и чалый жеребец. Атмосферу над нами зигзагами рассекал неистовый бог дорожного движения — он хохотал, рычал и молотил себя ладонями по пузу. Моя спутница бешено трясла заплетенной в косички гривой и визжала от восторга.

Да какая же японка не любит быстрой езды? И как я мог не понимать этого ранее, как мог не видеть? Лишь теперь я проникся этим, лишь теперь, когда на скорости летящей пули она схватила меня за загривок, обдала влюбленным взглядом и закричала: «Крутой, крутой!..». Оба наших глупых расизма — мой латентный и ее заемный — сейчас выдавливались из нас, как на центрифуге, перемешивались, аннигилировали — и добавляли автомобилю реактивной тяги.

Эх, Хонда, птица Хонда... Кто тебя выдумал?.. Куда несешься ты?.. Дай ответ. Не дает ответа. Знай только мечутся поршни в цилиндрах, да сверкают искры в камерах сгорания, да готовит новую смесь трудяга карбюратор, да отработанный выхлоп летит прочь из трубы. А по бокам все поля да поля, нескончаемые поля — осенние, убранные, без риса, без воды, без тракторов, без лягушек — тянутся и тянутся до самых гор. Горы же обступили всю долину кольцом, и снег уже лег на иные вершины, и на той, что прямо по курсу — тоже снег, а пониже — покуда зелень, а еще пониже — деревенька, а поближе — мост через речку, а еще ближе...

А еще ближе — полосатый жезл полицейского.

Я шарахнул по тормозам, но это уже ничего не меняло. Нас застукали. Не успев даже толком погасить скорость, я вихрем пронесся мимо дядьки с жезлом — а уж потом только перешел в левый ряд, прижался к обочине и остановился. Нашкодивший бог развернулся и нырнул обратно в тучу, оставив меня наедине с моим незавидным жребием. Радио продолжало грохотать — я его выключил. Туча снова наплыла на нас. Лето кончилось.

— Что такое? — всполошилась ничего не заметившая подруга.

— Чего, чего... — сказал я мрачно. — Кобыла ваша околела.

— Какая еще кобыла?

— Такая... «Все хорошо, как никогда».

— Хорошо?!

— Конечно... К чему скорбеть от глупого сюрприза?.. Будем ходить пешком...

Впереди нарисовался еще один гаишник и махнул палкой, зовя к себе. Я медленно тронулся. Там, на узенькой площадке, стоял полицейский микроавтобус — в таком же меня обрабатывали неделю назад.

Я приближался, и гаишник увеличивался в относительных размерах. Черты лица под его фуражкой проступали все отчетливее — и чем отчетливее они проступали, тем сконфуженнее я становился. Я не знал, радоваться мне или стыдиться, напрячься или расслабиться. Его лицо тоже вытянулось, когда он меня разглядел. Он тоже не знал, как реагировать. Остановясь рядом с микроавтобусом, я вылез. Он подошел ко мне.

— Здравствуйте, — сказал я. — Как ваша поясница?

— Спасибо, лучше. — Он поправил фуражку. — Вы превысили скорость.

— Извините пожалуйста. Очень виноват.

— Ваши права.

— Держите.

Он повертел в руках мою карточку. Посмотрел куда-то вдаль.

— Центр-то легко нашел?

— Да, очень легко.

— А теперь обратно?

— Да, как вы посоветовали.

Он снял фуражку, пригладил волосы. Кивнул на мою машину.

— Американка?

— Японка.

Удивившись, он засунул голову в окно. Вынул обратно, надел фуражку.

— Действительно. Я думал, негритянка.

— Нет, загорелая просто.

— Гаруфрэндо?

— Знакомая.

— Ну-ну...

Мы оба замолчали. На асфальте неподалеку от нас стоял ящик с множеством тумблеров и регуляторов. На его светящемся табло я разглядел цифры: «170».

Леонид Осипович думал. Страшно было представить, сколько противоречивых мыслей и чувств клокочет сейчас под этой фуражкой. Я боялся его отвлечь. Я только тихо надеялся. И я поднял голову к небу, моля всех богов о снисхождении.

Бог дорожного движения проколупал в туче дырку, высунул голову и увидел меня.

— Тьфу ты! — сказал он. — Гайдзин... Извини, не разглядел.

— А если бы разглядел? — спросил я.

— Ну... Я вообще-то гайдзинов не подгоняю. Если только сами...

— А своих зачем подгоняешь?

— Ну как... Вот эти насшибают сейчас денег, а потом построят мне храм.

— Ха-ха, — сказал я. — Раскатал губу.

— Не построят, думаешь? — встревожился бог.

— Держи карман.

— Ты зачем богу грубишь?

— Затем, что меня навечно лишат из-за тебя прав. Или даже депортируют.

— Ай-яй-яй, — сказал бог. — Я не хотел. Но ты не паникуй, я сейчас придумаю что-нибудь... Уже придумал!

Он исчез в тучах. Леонид Осипович все морщил свой лоб. Его фуражка накалилась от раздумий. Чувство долга боролось у него с личной симпатией. Нравственный императив — с горьким пониманием своей замазанности. Я видел, что он изо всех сил ищет соломоново решение, ищет волшебную формулу, которая устроила бы всех. И я снова взмолился, прося богов ниспослать ему такую формулу.

Как старая граммофонная пластинка, зашипела и забубнила рация. Сообщали о поимке еще одного. Леонид Осипович бросил взгляд на меня, поднес рацию ко рту и сказал:

— Давай!

А другой рукой протянул мне мои права.

Я взял их и не знал, что делать дальше. Он пошагал к проезжей части и, уже отвернувшись от меня, вдруг широко махнул жезлом — так машут регулировщики, когда хотят изобразить зеленый свет. Боясь поверить, я сунул права в карман, взялся за дверцу, огляделся в нерешительности... Вокруг никого не было. На ящике высвечивались новые цифры: «200». Я сел в машину и хотел завести мотор — как вдруг увидел, что Леонид Осипович идет обратно и делает какие-то знаки. Я опустил стекло. Он подошел, наклонился ко мне и негромко сказал:

— Ты это... Антирадар купи, вот чего!

Мудрые слова буравчиком ввинтились мне в правое ухо.

* * *

— Куда тебя везти? — спросил я в десятый раз.

Вопрос прозвучал на заднем ходу. Я сдавал назад, чтобы вырулить обратно на дорогу. Птица Хонда недовольно клекотала. Она не любила летать задом наперед.

Ответа не было. Моя пассажирка, вытянув шею, смотрела вперед — туда, где инспектор встречал нового нарушителя. Этот новый вкатился на площадку в седле тяжелого мотоцикла — весь в коже, ремнях и заклепках. Он важно поводил раструбами перчаток и со значительностью шевелил могучими ботинками. Нацуко впилась в него глазами, как загипнотизированная. Такая ее реакция меня озадачила. Вместо того, чтобы сменить задний ход на передний, я застыл на месте и тоже уставился на кожаного байкера. Тем временем байкер слез с мотоцикла, обхватил перчатками сверкающий шлем и величественно стащил его с головы, явив миру пепельно-серые патлы, ниспадающие на прыщеватую мордочку.

— Цуру-тян!!! — завопила моя спутница, захлопала ладонью по двери в поисках ручки, нашла ее, дернула, поставила на землю ходули, рывком встала и качнулась вперед. Потом вспомнила про меня, повернулась и радостно пояснила:

— Бойфрэндо!

После чего хлопнула дверью и заковыляла в сторону байкера.

Я смотрел ей вслед сквозь лобовое стекло.

Между нами разрасталась пропасть.

Собственно, она и всегда была между нами, эта пропасть. Она исчезла лишь на краткое мгновение, когда мы оба покинули свои насиженные вершины, чтобы соединиться в романтическом полете над гибельной бездной. Теперь все встало на свои места. Я по-прежнему не умел танцевать хип-хоп, а она по-прежнему не знала, что такое «интертекстуальность». Я не владел тяжелым мотоциклом, а она не владела навыками светской беседы. Мне легче и быстрее было бы найти общий язык с отставным камикадзе, чем с этой размалеванной куклой.

Да что там камикадзе! Я моментально нашел бы общий язык с младшим клерком из конторы по делам бумажных заполнений. С клерком в белой рубашке и черном пиджаке. С тем самым парнем, который по выходным ездит в гольф-клуб, чтобы таскать клюшки за своим начальником. Мы поговорили бы о погоде, о колебаниях курса иены, о политических новостях, о событиях в мире сумо. Он пожаловался бы на загруженность работой, а я бы посетовал на визовый режим. Он спросил бы: в России холодно, да? — а я бы ответил: да, необычайно. Он сказал бы: ах, вот оно как, а японская кухня вам нравится? — а я бы в ответ сказал: да, неимоверно. Он сказал бы: подумать только! что, и натто тоже нравится? — а я бы сказал: да, представьте себе, и натто тоже. Он сказал бы: в таком случае примите мою визитную карточку. А я бы сказал: ну, тогда и вы примите мою. И получился бы вполне осмысленный диалог.

Однако выходило так, что размалеванная кукла на ходулях мне более по душе, чем клерк в белой рубашке. По самой тривиальной причине — в ней было больше жизни. На микроскопически малую величину — но больше. На одно колебание клеточной мембраны, на одну табачную затяжку, на один километр в час. На робкий, глупый и бессмысленный плевок в бетонную каланчу. Она сама была порождением этой каланчи, плоть от плоти ее, бетон от бетона — но по извечной диалектике отцов и детей не могла в нее не плюнуть. И это было столь трогательно, что пробирало меня до самых печенок. Мне милы цветные пятна на сером фоне — пусть даже это будут пятна от разлитого на асфальте мазута. Пока на них играет радуга, я не устану ими любоваться.

Неуклюже переставляя свои ходули, она удалялась от меня — и колючий осенний ветер трепал на ней мини-юбку. Очень непросто быть девушкой гангуро. Это полное самоотречение, это вызов человеческой природе, это каждодневный изнурительный подвиг. Это простуды и обморожения, это вывихи голеностопного сустава, это кварцевые ожоги и раковые опухоли, это девяносто один венерический микроб, обнаруженный в среде девушек гангуро скрупулезными исследователями от японской медицины. И на фоне этого ужаса девушки гангуро остаются живее всех живых — никогда не перестанут они распевать караоке, жевать гамбургеры и красить губы. Они встанут перед измученным клерком и скажут: эй, парень, кончай себя гробить! И парень задумается. И прочитает надпись на розовой маечке. И, может быть, даже поймет.

Инспектор учтиво отворил дверь микроавтобуса. Моя прекрасная маркиза уже была готова последовать внутрь за своим байкером — как вдруг обернулась и поднесла изумрудные кончики пальцев к губам. Сраженный, я уронил голову на руль — а с ее ногтей сорвался, перепорхнул площадку, пробурил стекло и растекся по моей макушке ее прощальный, перламутрово-сизый, теплый, сладкий и липкий воздушный поцелуй.

апрель 2000г.

Золотая клетка

Многие люди во сне храпят.

Физиологи говорят, что в храпе повинны мягкие ткани глотки. Когда их тонус снижен, жди неприятностей. Корень языка западает, миндалины болтаются, нёбная занавеска вибрирует, и челюсть норовит уплыть. Чем жирнее глотка, тем больше храпа.

Лично мне храп никогда не был свойственен. Ткани моей персональной глотки всегда находились в хорошей спортивной форме, всегда были поджары и сухощавы. Корень языка никуда западать не думал. Челюсть не отлучалась ни на шаг. Если кому-то случалось ночью оказаться поблизости, то утром никаких жалоб не поступало.

Захрапев первый раз в жизни, я очень удивился. Самым интересным было то, что в тот момент я бодрствовал и спать даже не собирался. Дыхание было ровным, в меру глубоким — но в горле ощущалось некоторое стеснение. Это стеснение постепенно нарастало, затрудняло вдох и выдох — и, наконец, взорвалось неприличным хрюкающим звуком.

Пораженный, я на несколько секунд приостановил работу легких. Затем медленно выпустил воздух через нос, изо всех сил расслабился — и попробовал снова вздохнуть. И снова всхрюкнул.

Плохо дело, — подумал я. — Заплываю жиром... Начинается с шеи, потом перекинется на живот — а куда дальше?..

Я физически ощутил, как нижние ткани глотки разбухли и прижали верхние, перекрыв гортань. В голове забегали страшные мысли, и мне захотелось открыть глаза. Но и это оказалось непростой задачей. Щеки у меня тоже начинали жиреть, становились тяжелы и давили на нижние веки. Я наморщил лоб, отодвинул брови, вытаращился — и сквозь приоткрывшиеся щелочки смог разглядеть нижнюю половину входной двери. В тот же момент раздались удары кулаком по металлу, дверь распахнулась, и в проеме я увидел два коричневых ботинка и две черные штанины. Остальное загораживали наплывшие на глаза щеки.

— Раструби твою в затылок! — заорал федькин голос. — Опять на уши встал, йог недорезанный!

Ботинки решительно направились в мою сторону и остановились в полуметре от лица. Казалось, их обладатель хочет схватить меня за ноги и опрокинуть на пол. Однако этого не происходило.

— Почему носочки не тянешь? — строго спросил Федька. — Почему ноги врозь? Что за квантор всеобщности?

Я хотел сказать что-нибудь в ответ — и неожиданно всхрапнул.

Федька удивился. Он опустился на четвереньки и приблизил ухо к источнику храпа. Я не стал его разочаровывать и всхрапнул еще раз.

— Да-а-а... — сказал Федька. — Полное разложение. Начиналось с малого, с матраса на татами. А теперь вверх ногами будет спать. Дообезьянничался.

Он поднялся, придвинул кресло на колесиках, уселся в него и продолжал:

— Я тебе притчу расскажу. У моего шефа племянник был, тоже на ушах любил стоять. И один раз хотел ногой свет выключить. Над ним как раз этот шнурок висел, от люстры. Хвать за него ногой — а ногу-то и свело. Так и повис на люстре, как макака — и висел четыре дня, пока мать из отпуска не вернулась. Мораль ясна?

Я утвердительно помычал.

— Не наше все это, — веско сказал Федька, — не наше! У нас и климат другой, и менталитет. Что нам эти индусы, раструби их в затылок... Ты бы лучше в каратэ записался. Каратэ нам духовно ближе.

Я пошевелил сомкнутыми на затылке пальцами — они затекли.

— Чай пить будем? — спросил Федька. — Переворачивайся уже!

Я медленно сгруппировался и опустился на колени, не отрывая от пола отяжелевшей головы. Кровь развернулась и потекла обратно в ноги.

— Другое дело, — сказал Федька. — Пойду чайник поставлю.

Он отошел к раковине и загремел посудой. Ударяясь о стенки чайника, зашумела вода. Я неспешно поднял голову, принял положение «сидя» и завязал ноги в лотос. Федька включил чайник в сеть, поворотился ко мне — и покачал головой.

— Полное разложение, — повторил он сокрушенно. — Охмурили бонзы нашего Козлевича...

* * *

Кандидат физико-математических наук Федор Матвеевич Репейников заходил ко мне в кабинет достаточно регулярно. Иногда он заходил по делу — например, показать очередное испещренное закорючками письмо и установить с моей помощью, чего эти злосчастные аборигены опять от него хотят. Или я должен был позвонить в особо дешевое туристическое агенство с не понимающей английского языка девкой и заказать у нее авиабилет на Сингапур. Или мне надлежало написать благодарственный ответ на новогоднюю открытку от какого-нибудь господина Мураямы — непонятно откуда взявшегося, но с Федором Матвеевичем как бы знакомого. Поводы были неисчислимы.

Но чаще Федька приходил безо всякого повода. Его влекла ко мне неутоленная потребность делиться выстраданным знанием. Ему не давали покоя терпкие плоды напряженной духовной работы. Его распирал миссионерский импульс. Он приходил, наливал в стаканы чай, садился напротив — и начинал развенчивать миф о жидомасонском заговоре.

Он делал это с такой горячностью и страстью, как будто я был одним из апологетов и столпов этого мифа. Как будто я был клеветником, а он — оклеветанным. На борьбу с химерой пускалась вся мощь изощренного федькиного ума. Возводились сложнейшие логические конструкции, привлекалось наследие классиков, переосмысливалась мировая история — делалось решительно все для того, чтобы рассеялся мрак и воссияла истина.

Истина же состояла в том, что заговоры существуют по отдельности. Есть самостоятельный масонский заговор — и совершенно независимо от него есть заговор жидовский. Никакого такого комбинированного жидомасонского заговора в природе нет и быть не может. Более того, нелепый миф о таком заговоре был специально разработан израильской разведкой «Моссад» и распущен среди доверчивых масс с единственной целью — дискредитировать и опорочить героических борцов с отдельно взятыми заговорами.

Разъяснение тонких терминологических различий заняло у Федьки около полугода. Когда он счел меня достаточно подготовленным, то посвятил в более глубокие теории. По ним выходило, что заговоры все-таки связаны — но эта связь осуществляется не впрямую, а иерархически. Оба названных заговора — как масонский, так и жидовский — являются составными частями одного большого заговора, своеобразного мета-заговора, имя которому — «Заговор Мирового Капитала». Он очень сложен и велик, поэтому изучать его следует, разбив на компоненты.

Картина усложнялась с каждым федькиным визитом. Появились заговоры пришлых народов против коренных и коренных против пришлых. Возник заговор буддистов;

обсуждался возможный заговор мормонов. Был упомянут заговор бюрократии против научных работников. Не обошлось без заговора нерусской профессуры против русской. Деревенская бабка-знахарка, чьим единственным хлебом и смыслом жизни были заговоры и привороты, не знала столько заговоров, сколько знал их Федька. На моих глазах все эти многочисленные заговоры дружно складывались в логичную, стройную и пугающую композицию действительно большого и очевидного мета-заговора, который следовало бы назвать так: «Заговор Всех Людей против Федьки Репейникова».

Меня восхищало федькино поведение перед лицом этой темной, неумолимой силы. Я бы так не смог. Если бы заговор всех людей был направлен против меня, я непременно впал бы в тоску и панику. Федька же держался молодцом. Тотальная злонамеренная конспирация лишь разжигала его исследовательскую отвагу. Толпы оборотней сужали вокруг него свое роковое кольцо — а он даже не думал об опасности, он продолжал без устали разить заговорщиков всепобеждающим скальпелем научного анализа, срывать с них маски и фиговые листочки, классифицировать и пригвождать.

* * *

— А ведь я по делу! — вспомнил Федька и вытащил из кармана мятый конверт. — Это мне пришло или не мне?

— Послушай, Федор! — сказал я. — Еще понятно, когда иероглифы. Бог с ними. Но как твоя фамилия пишется, ты мог бы и выучить. Вот это — «рэ», вот это, с кружочком — «пэ», вместе получается «рэпэ», и уже понятно, что фамилия твоя.

— Когда мне будет очень надо, — сказал Федька, — я все выучу. Когда стимул появится. Раз не учу, значит стимула нет. Лучше скажи, от кого это пришло.

— «Мураяма», — прочитал я иероглифы на обратной стороне.

— Вот черт! — Федька заерзал. — Опять Мураяма! Чего пишет?

— Читать надо...

— Так читай! Я пока чай налью.

Он загремел стаканами и ложками, а я вскрыл конверт и углубился в чтение. Господин Мураяма поздравлял профессора Репейникова с благоденствием. Он делился радостью по поводу скорого наступления весны, извинялся за то, что своим негодным письмом отрывает профессора от важных дел, и сетовал на занятость, которая не позволила ему написать больше.

— Ну, что там? — деловито осведомился Федька, возвращаясь с чаем.

— Он тебя поздравляет.

— С чем?

— С благоденствием.

— А еще что?

— Больше ничего.

Федька на секунду замер, потом поставил стаканы на стол и потребовал буквального перевода. Я старательно перетолмачил все письмо, обсасывая каждую фразу до косточки, чтобы никакой тайный смысл не утек.

— Вот же, блин! — крякнул Федька, когда текст закончился без малейшей зацепки. — Раструби его в затылок, этого Мураяму... Откуда он взялся вообще? Чего хочет?

— Может, он масон? — предположил я.

— Нет, — отверг Федька. — Масоны другие.

— А может, мормон?

Федька немного подумал.

— Нет, — опять не согласился он. — Мормон и писал бы про свое мормонство. А тут какое-то «благоденствие»...

— Значит, не мормон. Просто козел по жизни.

Выражение «козел по жизни» было взято мной на вооружение в студенческие годы, после общения с одним демобилизованным конвоиром. Эта лапидарная формула, несмотря на уголовный генезис, примечательна во многих отношениях. Она трогательно незатейлива, в меру брутальна, достаточно выразительна и гениально неконкретна. Любого деятеля в любых обстоятельствах бывает уместно обозвать козлом по жизни — естественно, за глаза. Безапелляционность приговора, вкупе с расплывчатостью понятия «козел», отбивает у собеседника всякую охоту пускаться в споры. Эта формула незаменима в случаях, когда предмет разговора вызывает ленивое неодобрение, граничащее с полной индифферентностью.

— Козел-то он, допустим, козел, — задумчиво произнес Федька, — но откуда взялся?

— Да господи! — сказал я. — Попутчик в самолете. Случайный знакомый в баре. Соседняя палатка в кемпинге. Куча вариантов. Визитку ты ему свою дал, вот он и пишет теперь, старается.

— Но для чего?

— Как «для чего»? Мы же не знаем, кто он такой. Может, он всю жизнь работал каким-нибудь говночистом. А теперь состоит в переписке с иностранным профессором. Это же почетно!

— Ну, допустим, — сказал Федька. — А если не говночистом?

— Даже если и не говночистом. Все равно почетно.

Федька молча взял стакан, отхлебнул чаю и задумался, глядя в одну точку.

— Вообще-то, — заявил он после раздумья, — японцы мне нравятся. Знаешь, чем?

— Чем? — спросил я.

— Они безобидные.

— А что, бывают еще какие-то обидные?

— Бывают, — кивнул Федька и недобро прищурился.

— Это какие например?

— А ты будто не в курсе! — и Федька многозначительно пошевелил бровями.

Сразу вслед за этим входная дверь с вежливым стуком отворилась. Нас ослепил блеск лаковых туфель, сияние накрахмаленной сорочки и блики на стеклах очков. Кабинет затопило запахом дорогого одеколона. Федька поднялся, картинно раскинул в стороны руки и воскликнул:

— Рауль Абрамыч! Это вы ли?! Глазам не верю!

— Здравствуй, Федя, — с достоинством, но не без некоторой опаски произнес Рауль Абрамыч. После чего сделал два шага в мою сторону и вынул из внутреннего кармана пиджака голубоватый конверт.

— Вадичек, я по делу. Скажи пожалуйста, это мне пришло или не мне?

* * *

Доктор технических наук Рауль Абрамович Лишайников тоже бывал не прочь заглянуть ко мне в кабинет и обсудить за чашкой чая судьбы земной цивилизации. Однако его взгляд на развитие человечества не походил ни на какой другой. По его мнению, все происходило иначе, чем это пытались представить Карл Маркс или Фрэнсис Фукуяма. На деле культура гомосапиенсов развивалась равномерно, прямолинейно и очень хорошо, пока не добралась до своей высшей точки и высшего достижения — музыки Иогана Штрауса. Сразу после этого ей стало развиваться некуда и незачем. Поэтому непосредственно вслед за музыкой Иогана Штрауса был изобретен пулемет. С изобретением пулемета началась нисходящая ветвь человеческой истории. Все пошло криво, плохо и наперекосяк. Густым валом повалили революции, войны, плебейские манеры, неприличные слова, загрязнение среды и сумбур вместо музыки — все то, что было немыслимо в эпоху Иогана Штрауса. Орды зашоренных сапиенсов мчались к краю пропасти, и апокалипсис маячил уже где-то совсем близко.

Судьба цивилизации была горька и досадна. Но еще более досадной была судьба самого Рауля Абрамовича, которого угораздило родиться всего на каких-то сто десять лет позже Иогана Штрауса. И всего в какой-то тысяче километров от австрийской столицы — в предместьях Бердичева. Впору было возроптать и искусать от обиды все локти.

Окажись Фортуна не так зла, жизнь Рауля Абрамовича была бы упоительной, как сказка Венского Леса. Он был бы с Иоганом Штраусом на короткой ноге. Он пил бы с ним шартрез и клико. Аплодировал бы Ференцу Листу, который, в принципе, тоже был неплохой композитор. Хлопал бы по плечу Ренуара и Мане. Беседовал бы о литературе с молодым Цвейгом. А в свободное от приемов и раутов время Рауль Абрамович гулял бы по берегам прекрасного голубого Дуная и пел бы тирольские песни.

Вместо всего этого инженер Лишайников сидел в закрытом КБ и проектировал цифровые микросхемы. Потом эти микросхемы ставились на реактивные истребители-бомбардировщики. Каждый истребитель-бомбардировщик нес на себе две пушки. Снизу дополнительно цеплялись управляемые ракеты, зажигательные баки и свободнопадающие бомбы. Пушки делали тысячу выстрелов в минуту.

Вместо шартреза Рауль Абрамович пил спирт для промывания контактов. Вместо Ренуара хлопал по плечу секретаря парткома. Этому же секретарю, а вовсе не Листу, аплодировал на торжественных собраниях. А прекрасный голубой Дунай довелось увидеть всего раз, да и то в Болгарии, совсем с другого конца.

В своих снах Рауль Абрамович регулярно добивался аудиенции у австрийского эрцгерцога Фердинанда и испрашивал перевода в Зальцбург. Фердинанд отводил глаза и мямлил что-то насчет военной тайны. В другой раз Рауль Абрамович угнал истребитель, но до Вены не долетел — его подбили над Карпатами. Еще в одном сне он подал челобитную самому Хрущеву и ждал резолюции — как вдруг самый настоящий, всамделишный Никита Сергеевич Хрущев ни с того ни с сего решил посетить важный оборонный объект.

За день до визита на территорию КБ явились люди в штатском. Они окинули критическим взором висевшие на стенах графики и один велели убрать — кривая на нем шла не вверх, а вниз.

— Помилуйте! — воскликнул Рауль Абрамович. — Это падение себестоимости!

— Уберите! — повторили штатские люди. — Он не любит!

Вместе с неправильным графиком убрали вертушку на проходной, чтобы тело вождя не застряло. Вождь явился, благополучно миновал турникет и очень одобрил восходящие кривые.

— Никита Сергеич! — обратился к нему главный инженер. — Вот на этом кристалле кремния мы разместили тысячу транзисторов!

Никита Сергеич послюнил палец, ухватил кристалл, поднес к глазам и долго щурился. Потом сказал:

— Коммунизма зримые черты!

Вскоре Никиту Сергеевича свергли, а черты коммунизма стали делаться все менее и менее зримыми. Когда дело дошло до ста тысяч транзисторов на кристалл, они растаяли окончательно. Вместе с ними растаяла грозная железная занавеска. Десятилетиями бившиеся об нее ученые мозги вдруг обрели свободу и потекли.

Мозги Рауля Абрамовича подумали, подумали — и потекли тоже. Но почему-то не на Запад, где когда-то жил Иоган Штраус, а против всякой логики на Восток, где Иоган Штраус отродясь не бывал. Частично это объяснялось тем, что на Востоке знали толк в полупроводниках.

После трех лет напряженной исследовательской и педагогической работы лабораторию профессора Лишайникова посетил наследник японского престола. В день визита университет запрудили люди в штатском. Они переговаривались по рации и с подозрением вглядывались в голубей, клевавших желтые кирпичи на дорожках кампуса. Личность профессора не вызвала у них большого интереса. Кабинет они осмотрели очень бегло и под стол залезать не стали. Они даже не обратили внимания на газетную вырезку из «Аргументов и фактов», висевшую посреди стены. Заметка называлась «Японцы — потомки евреев». Профессор ее часто перечитывал и со стены никогда не снимал.

Наследник прибыл в полдень. Он шел в сопровождении свиты по желтой дорожке. Вдоль веревочных ограждений выстроились потомки евреев из местных жителей и студентов — они с энтузиазмом махали флажками и ладошками. С лица наследника не сходила улыбка Будды. С этой улыбкой он заходил в лаборатории и внимал ученым речам.

Лаборатория профессора Лишайникова стояла в программе последней.

— Ваше Высочество! — отчеканил профессор по-английски. — Технология, которую мы сейчас разрабатываем, позволит разместить на одном кристалле кремния до десяти миллионов транзисторов!

Принц поднял лицо к потолку и выразительно зажмурился, как бы пытаясь вообразить картину этого сумасшедшего количества. Свита зажмурилась вместе с принцем, и только люди в штатском оставались начеку, зыркая туда-сюда узкими глазами. Профессор почтительно молчал.

— Это великолепно! — сказал наконец принц. — Это потрясающе. Примите мои поздравления. Мы очень ценим вклад иностранных ученых. Мы хотим стать более открытым обществом. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо за сотрудничество. Желаю вам успехов!

И с этими словами принц поклонился.

Склоненное чело божественного потомка потрясло Рауля Абрамовича до самых сокровенных глубин. Тщательно лелеемая картина мира — такая красивая и законченная

— хряснула и стала оседать. Чтобы она не рухнула совсем, пришлось ставить подпорки. Конечно, профессор был уже солидным человеком и не мог себе позволить такого радикального акта, как перенос пупа земли из Вены в Токио. Он ограничился косметической правкой своих мрачных прогнозов. Конец света по-прежнему стоял на повестке дня — но уже не с такой непреложностью. Человечество могла спасти японская модель.

* * *

По конверту тянулись лапидарные крючки слоговой азбуки.

— Да, это вам, — сказал я. — Видите, написано: «Ри-ся-й-ни-ко-фу».

— А от кого?

— От Мураямы! — встрял Федька. — Рауль Абрамыч, чайку?

— С удовольствием. Так от кого?

— Это из полиции, — сказал я. — Вот иероглифы.

По лицу профессора разлилось недоумение. Федька заметил это и плотоядно ухмыльнулся.

— Отвоевались! — глумливо сказал он. — Скидавайте сапоги — и к овражку! Ихнее благородие приказали всех в распыл.

— Подожди, Федя! — профессор был взволнован. — Чего они хотят?

Я вскрыл конверт. Господин Лишайников приглашался в отделение полиции для обмена старых водительских прав на новые.

— Так ведь это еще когда будет! — воскликнул он, когда я перевел. — У меня права действительны до мая!

— Извещают заранее, — сказал я. — Чтобы вы помнили. Чтобы планировали.

Федька у раковины наполнял чаем третий стакан. Рауль Абрамович медленно взял у меня конверт и положил обратно в пиджак.

— Да! — сказал он и тряхнул посеребренной головой. — Да! Вот за что я люблю эту страну! Во всем система! Во всем порядок! Все для людей!

— Для баранов тут все, а не для людей, — проворчал Федька, ставя перед профессором стакан чая. — Для безобидных, покорных баранов. Сахарок берите.

— А у нас лучше, что ли? — Рауль Абрамович метнул в стакан два куска рафинада и строго блеснул очками. — Бандиты всякие, неплатежи, олигархи, и каждый на каждого плюет — это лучше, да?

— Лучше! — Федька хлопнул ладонью по столу. — Потому что это динамика. Это жизнь! А тут никакой жизни нет. Тут болото.

— Ты не понимаешь, Федя, — загорячился Рауль Абрамович. — Тут Восток! Они тут видят прекрасное. А у нас никто ничего не видит. Все ослепли от ненависти. У нас только вот это — убить, украсть, и все. А тут эстетика.

— Да какая там эстетика... Это миф! Вы поддались гипнозу.

— Ничего не миф. Ты послушай. Я в субботу ходил грибы собирать. Иду и вижу: сидит мужик. На корточках сидит и меня зовет. Я подхожу, а он мне цветочек показывает. Цветочек растет среди камней — и он меня пригласил им полюбоваться.

— Да он, наверное, посрать присел, ваш мужик, а тут вы со своими грибами...

— Вот-вот. Человек любуется цветком, слагает трехстишие, а у тебя в голове одно — «посрать». Я про это и говорю. Мне даже стыдно тогда стало, что он ходит в лес на цветочки любоваться — а я там грибы срываю, чтобы жрать их потом. Или вот сакура то же самое — им даже плодов с нее не надо.

— Правильно! Я давно говорю: сакура — это пустоцвет. Как и все остальное. Все вокруг: ах, Восток! ах, культура! А это никакая не культура, а порожняк.

— Что же тогда не порожняк? Вот эти ваши буги-вуги — не порожняк, да?

— Это тоже порожняк. Культура — это «Слово о полку Игореве». Культура — это протопоп Аввакум. И буги-вуги вы мне не шейте. Все эти буги-вуги, всякий там Голливуд разный, джаз, мормоны, хасиды, комиксы — это все ваше, а не наше!

Рауль Абрамович тяжело вздохнул.

— Федя, ну вот ты меня усадил, чаю налил — и все для чего? Чтобы ругаться? Вадичек, ну посмотри на него!

— А что, нормально! — сказал я. — Классическая амбивалентность. Тут вам и либидо, и мортидо. Все вперемешку.

— Чего-чего? — насторожился Федька. — Какое такое мортидо?

— Фрейда читать надо! — наставительно сказал Рауль Абрамович. — Фрейд был современник Иогана Штрауса. Он жил в Вене и все понимал. Либидо — это инстинкт любви. А мортидо — инстинкт смерти. Они сопутствуют друг другу.

Федька надул щеки и забарабанил ногтями по стакану.

— Ясно, — сказал он наконец. — Берешь бабу и сверху на нее ставишь пулемет. А сам пристраиваешься сзади и сочетаешь бабу с пулеметом в едином ритме. Так, что ли?

— О боже! — Рауль Абрамович приложил кончики пальцев к вискам. — Опять пулемет! Зачем пулемет?!

— Не нравится!.. — осклабился Федька. — Человек всю жизнь кует пулеметы, а потом вздрагивает от одного слова! Что сказал бы Фрейд?

— Фрейд увидел бы здесь комплекс вины, — сказал Рауль Абрамович. — И был бы прав. Нельзя так долго работать на войну. Это вредно для совести.

— Ой-ой-ой! — Федька покрутил растопыренными пальцами. — Да кто другой гордился бы, что он ковал ядерный щит! Что он был причастен!

— Тут нечем гордиться, Федя. На самом деле, это страшно.

— Да вам не того страшно. Вам страшно, что вы вернетесь — а там коммуняки.

— И это тоже страшно.

— Ха! — Федька вдруг оживился. — А давайте пофантазируем. Давайте представим: вот вы вернулись — а там опять коммуняки. Знаете, что тогда будет?

— Знаю, знаю, — хмуро отозвался Рауль Абрамович. — Что-то там такое «в затылок».

— Э, нет! — сказал Федька. — В затылок — это потом. Сначала вам коленки посверлят. Дрелью.

Рауль Абрамович снял очки и стал протирать их носовым платком.

— Да вы не бойтесь! — успокоил его Федька. — Коммуняки к власти не придут. К власти придем мы.

— Кто это «мы»?

— Жесткие интеллектуалы!

— И что тогда?

— Тогда будет все, как надо. Потому что мы полностью задействуем потенциал православия. Оно будет старообрядческим. Эсхатологическим.

— Это как?

— А так! Раскольники когда-то сжигали себя в скитах. Но то было давно, до технического прогресса. Сегодня все делается проще. Объявим на весь мир, что Россия в одностороннем порядке взрывает весь свой ядерный потенциал.

— Зачем?

— А затем! Мы ведь православные, спасемся! А больше никто не спасется, и черт с ними. Так прямо и скажем. Представьте картину: по стране идут молебны, в массовом порядке отпускаются грехи, все поголовно молятся. Осталась, допустим, неделя. А там — паника! Готовы все с себя снять, лишь бы мы передумали. И вот уже на всех парах несутся к нам эшелоны с окорочками, летят боинги с ананасами, плывут танкера с оливковым маслом! Валютный Фонд аннулирует все наши долги, из Баварии протягивается пивной трубопровод, а фабрики Пьера Кардена строчат для нас телогрейки!

Федька раздухарился. Он забыл про чай, вскочил с кресла и делал быстрые проходки взад-вперед по кабинету, размахивая руками. Рауль Абрамович глядел на него, как лягушка на журавля.

— Вот, — сказал Федька, остановившись. — А излишки потом продаем обратно и выводим страну из кризиса.

— Да уж, — вздохнул Рауль Абрамович. — Интеллектуальнее некуда...

— Я утрировал! — Федька сел обратно и отхлебнул из стакана. — Я намеренно сгустил! Речь о том, что выход есть, просто там засели не те люди.

— Тебя бы туда.

— Да уж ясно, что не вас.

— Федя! — сказал Рауль Абрамович. — Ты делаешь мне алох ин коп.

— Чего делаю?

— Дырку в голове. Это на идиш. Так моя мама говорила, когда я ее расстраивал.

— Идиш вы забудьте. Больше не пригодится. Там теперь язык другой.

— Где «там»?

— Там, куда вы поедете в конце концов. Где вас ждут.

— С чего ты взял, что я туда поеду?

— А куда еще? Обратно вы боитесь, а здесь деградируете.

— По-моему, это ты деградируешь.

— И я тоже. Мы тут все деградируем.

— Не обобщай.

— Да как «не обобщай»? Вон, посмотрите на Вадика. У него уже словарный запас на исходе. Он все слова забыл, кроме «козла по жизни». Разве не деградация? Я, когда в Москве жил, делал в день по пятьдесят телефонных звонков. А здесь — от силы четыре. Это жизнь, по-вашему?

— Так ты делом займись — вот и будет тебе жизнь.

— Да каким делом? На ушах стоять, что ли?

— Не надо на ушах. Это Вадик пусть стоит на ушах, он йогнутый. Но ты же ученый, Федя! Ты же физик! Найди себе научную проблему! Займись, наконец, какой-нибудь, ну я не знаю, сверхпроводимостью. Или, там, общей теорией поля. А ты вместо этого болтаешься тут, как не скажу что. В чей кабинет ни пойдешь, заранее знаешь — там обязательно сидит Федька и несет ахинею.

— Но-но, полегче!..

— Ты должен раскрывать тайны бытия! Ты физик!

— Когда я раскрою некоторые тайны бытия, то вам мало не покажется. Это не в ваших интересах, чтобы я раскрывал тайны бытия.

— Скажи еще, что я у тебя в геенне гореть буду.

— Нет, Рауль Абрамыч, вы в нашей геенне гореть не будете!

— По разным раскидают, да?

— Именно.

— Доволен теперь? Утвердился за мой счет?

— Не напрашивайтесь в другой раз. Это вам не пулеметы строгать.

— О-о-о-о-о! — застонал Рауль Абрамович и взялся обеими руками за голову.

— Хватит! — Федька стукнул по столу пустым стаканом и поднялся. — Пойду раскрывать тайны бытия. А вы тут деградируйте дальше.

У дверей он обернулся и добавил:

— Только не жалуйтесь потом.

Когда его шаги по коридору затихли, профессор Лишайников раскачивался в кресле взад-вперед, стиснув руки в замок и глядя перед собой в одну точку.

— Рауль Абрамыч, вы чай-то пейте, — сказал я ему. — Совсем остынет...

Он горестно покивал. Медленно поднял на меня взгляд.

— Вадичек! Ну скажи на милость: за что России вот это? За что России Федька Репейников?

— Читайте Бердяева, — сказал я. — Там все написано.

— Я читал. Но почему это только в России? Почему в Японии нет?

— Это ваше большое заблуждение, что в Японии нет.

— А где оно? Где в Японии такие Федьки? Я не вижу.

— Их тут навалом. Могу показать, если хотите.

— Нет, не надо! — профессор замахал руками. — Не надо! Ты пойми, Вадичек: японцы построили мне золотую клетку. Раньше у меня была клетка железная, а теперь у меня клетка золотая. И я не желаю слышать про них ничего плохого! Пусть живут, как им нравится.

— Конечно, — согласился я. — Наше дело сторона.

Рауль Абрамович опять мелко покивал, поболтал ложкой в стакане, помолчал. Потом досадливо крякнул и взволнованно заговорил:

— Но он все-таки прав, зараза! Мы все тут деградируем, с этим не поспоришь. С кем тут общаться? Совершенно не с кем. Золотая клетка... Вот я и общаюсь с Федькой. Водку с ним пью... Стал бы я в Ленинграде пить с Федькой водку?.. Тебе вот хорошо, ты язык выучил, можешь с японцами пить...

— Так возьмите и тоже выучите!

— Я уже старенький. У меня стимула нет. Но я не о том. Ты посмотри: вот Федька. Он хам, демагог, сволочь, фашист, все такое... Он едва ли не антисемит! Но при всем том он же блестяще образован! Он знает такие вещи, о которых я и не слышал. И еще он, паразит, просто умный! Его послушать бывает интересно. Ты согласен, Вадичек? Согласен, что Федька блестяще образован?

— Козел он по жизни, ваш Федька, — сказал я.

Рауль Абрамович вздохнул.

— У тебя все просто... У тебя все козлы... А я вот не пойму, как это может соединяться. Такой головастый мужик — и на тебе...

— Так ведь мортидо, Рауль Абрамыч... Сами же говорили.

— Да, мортидо... А кроме того, — профессор многозначительно поднял кверху палец, — кроме того, он не любит музыки. Совсем не слушает Иогана Штрауса!

— Так это и есть «козел по жизни».

— Ну вот. Слава богу, разобрались. Я теперь пойду. С вами как свяжешься, так и не заметишь, что рабочий день прошел. Тебя до дому подвезти?

— Я на машине.

— Ну, спасибо за чай.

Взявшись за ручку двери, он вдруг остановился, мелодично просвистел пару фраз из «Цыганского барона», ободряюще подмигнул — и только после этого вышел.

Не успел я поставить стаканы в раковину, как снова вломился Федька. На нем была отороченная мехом куртка и лыжная шапка с помпоном.

— Кончай фигней страдать! — скомандовал он. — Поехали домой.

— Я еще поработаю, — сказал я.

— А безлошадным пешком идти, да?

— Подсядь к кому-нибудь другому. Ты вчера как добирался?

— Вчера меня Абрамыч подвез. Теперь — сам понимаешь... Поехали, у меня дома кино посмотрим. «Полицейская академия два».

— Нет, Федор. Мне тут кой-чего надо закончить.

Он погрозил мне пальцем.

— Если я по дороге упаду в сугроб и замерзну, ты будешь виноват.

Выходя в коридор, он вдруг просунул обратно голову и добавил:

— И Абрамыч тоже будет виноват!

Я запер за ним дверь и выключил свет. Вокруг был полусумрак и тишина. Лишь тихонько жужжал компьютер. Я опустился на пол.

Встал на лопатки.

Потом сделал кобру.

После кобры — крокодила.

Затем левую и правую извивку.

Посидел в лотосе. В тронной позе. На пятках.

Встал на голову. Постоял. Прислушался. Храпа не было.

Успокоенный, я лег в позу трупа и попытался максимально расслабиться. Но задача оказалась непростой. Очень мешали навязчивые глюки.

Вокруг меня летали ощеренные пулеметами боинги. В них сидели бородатые старообрядцы в телогрейках от Кардена. С криками «алох ин коп!» они бомбили меня ананасами и окорочками. Выливали мне на голову цистерны оливкового масла и баварского пива. Исповедовали меня и причащали. Я не успевал от них уворачиваться.

Потом зазвонил телефон. Я разогнал глюки и вскочил на ноги. Меня шатало. В голове не смолкали авиамоторы.

— Вадичек! — донесся из трубки федькин голос. — Ответь мне на один вопрос, только честно. Когда Рауль Абрамович сказал тебе, что я блестяще образован, что ты сказал ему в ответ?

Трубка замолчала и ждала. Увиливать было бессмысленно.

— Федор! — начал я. — Скажу тебе честно. Я ответил ему в том духе, что ты козел по жизни. Я даже скажу, почему я так ответил. Я ответил так потому, что малодушно хотел утвердиться за твой счет и насытить свое мортидо. Тебя устроит такая формулировка?

Федька выразительно помолчал секунд пять. Потом сказал:

— Мы еще вернемся к этому вопросу.

И положил трубку.

Я ткнул в рычаг и набрал номер профессора Лишайникова.

— Хэллоу! — сказал профессор.

— Рауль Абрамович! — сказал я. — Вы зачем меня заложили?

— Ха! — сказал Рауль Абрамович. — Я тебе расскажу. Я еду домой и смотрю: идет Федя. Я остановился и говорю: вот, Федя, мы с тобой все спорим, ругаемся — но я признаю, что ты блестяще образован, и я даже сказал об этом Вадику. Федя говорит: а Вадик что сказал? Наверное, сказал, что Федя — козел по жизни? Я говорю: ха-ха! — да, так и сказал.

— Вы его хоть подвезли?

— Конечно. Вот он сидит напротив меня, коньяк пьет. Передает тебе привет. Давай, тоже приезжай, у нас еще много.

— Извините, — сказал я. — Сегодня нет такой возможности. В другой раз.

— Жаль, — донеслось из трубки. — А то был бы третьим...

Он вздохнул и замолчал. На заднем плане послышались отрывистые звуки «Польки-пиццикато».

Будто кто-то водил стеклянной палочкой по золотым прутьям.

август 2000г.

Сатиновая кукла

Над рисовым полем летела белая цапля.

Полет цапли был тяжел и неуклюж. Прозрачный сентябрьский воздух еле держал натруженные крылья. Длинные ноги болтались, как хвост воздушного змея. Массивный клюв тянул книзу, об него стукались назойливые мухи и цикады. Гибкой шеи хватило только на первую букву слова «SOS». Так, наверное, летел бы усталый птеродактиль, чудом спасшийся от зубов быстроногого тиранозавра.

В этой цапле не осталось уже и тени того глупого детского куража, с которым есенинский красногривый жеребенок скакал за чугунным паровозом. Теперь все было слишком безнадежно — и она это понимала. Поезд, который сейчас обгонял ее, не оставлял ей никаких шансов. Те, кто проектировал синкансэн, давно уже не соревновались ни с конями, ни с цаплями. Их вообще не интересовала фауна, их интересовали цифры. Двести семьдесят километров в час. Сто пятнадцать поездов в день. Тридцать миллионов пассажиров за финансовый год.

У синкансэна было шестьдесят четыре электромотора, отдельная колея и двадцать пять тысяч вольт питания. У цапли было два белых крыла, одно синее небо и три лягушонка всухомятку. При таком раскладе было смешно и заикаться о какой-то форе. Но она и не заикалась. Она просто летела. С таким видом, словно не замечает несущегося мимо стального монстра. Словно эти электрические чудища не собираются выпить всю воду из полей и передавить всех лягушат. Словно цапли пребудут на этой земле вовеки — и никогда не улетят туда, куда уже улетели все ибисы и почти все журавли.

Она летела сбоку, на почтительном расстоянии — поэтому обгон выглядел растянутым во времени. Вынырнув в переднем крае окна, она успела сделать десять взмахов, с каждым из которых я выворачивал шею вправо и прижимался левым виском к стеклу, — потом сделала одиннадцатый и слилась с оконной рамой.

Мой притиснутый к окну левый глаз продолжал фиксировать проносящиеся мимо объекты: группу крестьянских домишек, высоковольтную линию, храмовые ворота, белый щит с рекламой пилюль «Дзинтан», кладбище на пригорке, автостоянку, рощицу, мостик, снова поля... Стекло медленно запотевало. Когда все объекты расплылись в тумане окончательно, я отнял голову от окна и вернул ее в нормальное положение — носом вперед.

Не успел мой взор упереться в спинку переднего кресла, как натренированный левый глаз зафиксировал сбоку еще один объект, на сей раз неподвижный. Какие-то цветные пятна в проходе. Их неподвижность была подозрительной даже для бокового зрения. В вагонных проходах останавливаются только тележки с напитками и закуской — но тогда громогласно перечисляется ассортимент. А этот объект молчал. И, судя по всему, пялился на меня.

Я повернул голову налево. В проходе стояла женщина в стиле Кустодиева, будто сошедшая с полотна «Купчиха за чаем». Она смотрела на мой откидной столик. Там, рядом с начатой банкой пива, лежал нераскрытый книжный том, по обложке которого бежали красивые буквы:

```
Владимир Шинкарев
"Папуас из Гондураса"
```

Женщина перевела взгляд на меня. Ее губы робко шевельнулись.

— Боже, — произнесла она. — Вы русский, да?..

— Русский, — кивнул я. — Как есть русский.

— Это надо же... Вот уж чего не ожидала... Русский... Здесь...

— А что такого?

— Ну, как-то... А можно я к вам присяду?

— Конечно... Пожалуйста...

Усевшись на соседнее место, она обдала меня духами и туманами.

— Вы знаете, японцы все такие курильщики... Невозможно высидеть! Вот, пришла в некурящий вагон. Хорошо, тут у вас место свободное оказалось.

— Ага, — сказал я.

— Повезло нам! — добавила она. — А то ведь могла бы и не заметить!..

— Что, — спросил я, — давно русских не видели?

— Ой, да мы в такой дыре живем! — сказала она скороговоркой и как-то очень доверительно.

— А где?

— Да тут везде! — она хохотнула и колыхнулась в плечах. — А живем далеко. Шашидо сити. Знаете?

— Нет.

— Конечно. Японцы такие беспардонные! Заслали в тьмутаракань...

— Вы работаете?

— Муж. У нас контракт. Он химик.

Почти без запинки она добавила:

— Синтез производных пирролоиндолов.

И небрежно повертела рукой: мол, понятно, о чем речь.

Затем последовал тяжелый вздох:

— Но жизнь тут!.. Я прям не знаю. Ехали, думали: цивилизация. А тут вон чего.

Она перевела дух, вгляделась в меня и спросила:

— Вы из Москвы?

Вопрос был пропитан такой горячей надеждой, что я счел долгом ее оправдать:

— Из Москвы.

А оправдав, сразу пожалел. Сейчас спросит, из какого я района. Что отвечать? Какие там есть районы? Арбат есть, Марьина Роща, Черемушки... Скажу, что из Черемушек.

— И давно здесь?

— Шесть лет.

— О, господи! — воскликнула она с таким сочувствием, как будто я стоял голый на пепелище. — Да как же это? Как вы смогли выдержать?

Не зная, что сказать в ответ, я взял банку с пивом и сделал несколько хороших глотков.

— Мы тут два года только, — продолжала она, — и уже на пределе. Как можно среди них жить?! Они все такие бестолковые!

— Хм, — сказал я, тряхнув банкой. На донышке плеснулись остатки.

— Ничего с первого раза не понимают. Все надо повторять дважды.

— М-м-м, — промычал я и вылил остатки в рот.

— И еще они очень любопытные.

— Ага. — Опустевшая банка вернулась к своему папуасу.

— Вы согласны?

— Даже не знаю...

— Только выйдешь на улицу, как они сразу на тебя смотрят.

— Неужели?

— А на вас разве не смотрят?

— Бывает.

— Ну вот, видите...

Двери в тамбур разъехались. Вкатилась тележка. Девица в синей униформе церемонно поклонилась пассажирам.

— Обеденные наборы, закуски, чай, кофе, пиво...

Я выхватил из кармана зеленую бумажку с двумя танцующими журавлями.

— Пиво, будьте любезны!

— Триста иен.

— А побольше нет?

— К сожалению, только такие.

— Тогда две.

— Шестьсот иен. Пожалуйста.

— Спасибо.

Зажав сдачу в кулаке, я откупорил банку и сделал глоток. Моя попутчица смотрела на меня.

— А вы что, знаете японский?

— Ну... В каком-то объеме. Вы попить ничего не хотите? А то она сейчас уйдет. Кофе, чай...

— Да чай-то, поди, зеленый...

— Черный тоже бывает. Спросить?

— Не надо. У них разве чай? Разве они в чае понимают?

— Да уж, — сказал я. — То ли дело в Мытищах!

— Ой! — всплеснула она руками. — Вы из Мытищ?!

— Нет, — мотнул я головой. — Я из этих... Из Черемушек.

— Да-а-а... — мечтательно произнесла она. — Закрою глаза и вижу. Дачу вижу... Клубнику... Вы сейчас из Токио едете?

— Из Токио.

— Свеклу везете?

— Не понял.

— Живете-то где?

— Тут недалеко. Минут через двадцать вылезать.

— И что, у вас там свеклу продают?

— Не замечал...

— Значит, в Токио надо покупать! Там все есть. Гречка, свекла, укроп, черный хлеб... Вы женаты?

— Нет.

— Тогда тем более. Я вам нарисую, как магазин найти. Там даже пряники один раз выбрасывали. У вас есть на чем?

Я отогнул картонную обложку «Папуаса» и протянул ей.

— Что, прямо в книге?

— В этой можно.

Она принялась вычерчивать схему, а я допил вторую банку и повернулся к окну. Начинало темнеть. Летящий мимо пейзаж понемногу украшал себя робкими огоньками. На горизонте еле заметно выступил горный кряж, готовый тут же раствориться в сереющем небе. Зеленые холмы превращались в черные. Держалась только желтизна спелых полей.

— Доезжаете до метро Шинбаши! — раздалось сбоку. — Проходите под мостом. Видите, вот сюда. Потом налево, и идете метров двести. Там будет вывеска. Зверь какой-то — енот не енот, медведь не медведь, не поймешь даже. Обойдете зверя — и в переулочек. И вот там, в третьем или четвертом доме, оно и будет.

— Что будет?

— Магазин! Называется как-то вроде «Сибирь», только по-японски.

— «Сибэриа»?

— Да, кажется. Японцы ведь очень косноязычные, их не поймешь. Но мы сегодня хорошо отоварились. Одной свеклы десять кило, до вокзала еле дотащили. Муж в курящем сидит, караулит.

— Скучно ему там, наверное?

— Да уж само собой. Эти-то расселись вокруг, языками чешут... До чего болтливый народ!

Она тяжко-претяжко вздохнула.

— Может, это панда?.. — предположил я.

— Где?

— Не енот и не медведь... Панда, скорее всего.

— Какая панда?

— Гималайская. Японцы ее почему-то любят.

— Бог знает что они тут любят. Один раз с мужем на банкет пошла — до сих пор плююсь, как вспомню. Какие-то стручки... Осьминоги какие-то...

— Морской еж...

— Не помню, может, и еж был...

— Еще натто...

— Что?

— Натто, бобы такие подгнившие.

— Откуда вы все знаете?

— Так ведь шесть лет...

— Ужас. Вам надо памятник ставить. Как вы живы до сих пор?

— Сам не пойму.

— Они ведь такие... Как бы это сказать... Злонамеренные!

— В каком смысле?

— Да в любом. Ну вот, помню, меня полицейский остановил, когда я нечаянно по правой стороне поехала. И давай что-то такое лопотать. Я ему на чистейшем английском говорю...

— Простите, — перебил я. — На каком английском?

— На чистейшем. Говорю: «Ай кэн нот ту спик джапанис». А он в ответ специально — вы понимаете, специально! — говорит по-японски!

— Так может, он по-другому и не умел?

— Да прям! Видно же — смотрит на меня и радуется, что я не понимаю.

— А потом?

— Потом отпустил.

Световое табло над дверью вспыхнуло красными иероглифами новостей. Они резво бежали справа налево, повествуя о курсе иены на токийской бирже. Я открыл третью банку. Интересно, подумалось мне, — сколько пива выпил Кустодиев, пока сидел с мольбертом перед своей натурщицей? Наверное, целыми самоварами дул.

— Дорого, конечно, — вздохнула она. — Пятьсот иен кило. Где это видано?
— Ничего, — сказал я. — Вон, говорят, что иена растет.
— Кто говорит?
Я показал на табло.
— Господи! — вырвалось у нее. — Вы что, и эти закорючки понимаете?
— Ну... Не все, конечно, — поспешил я ее успокоить. — Кое-какие только...
— Вас в институте учили?
— Нет, я сам...
Она глядела на меня с болью и состраданием.
— Вы что, до смерти тут собираетесь жить? Такой молодой...
— Почему обязательно до смерти?
— А до каких пор?
— Не знаю... Как получится.
Она изучающе побегала по мне глазами, как по непонятному зверю.
— Вы здесь как вообще? По контракту?
— Да. В университете...
— Один?
— В смысле?
— Наши люди еще есть?
— Довольно много.
— Ну, тогда еще ничего. Можно позавидовать.
Я влил в себя остатки пива. К горлу подступила отрыжка.
— Нет, я ничего плохого не имею в виду, — сказала она. — Замечательная страна, великая культура... Но ведь здесь невозможно стать своим!
— Невозможно, — согласился я.
— Здесь вы всегда будете... Как это... «Га...»
— Гайдзин.
— Да. На вас будут показывать пальцем. Над вами вечно будут смеяться. Вы будете белая ворона.
— Конечно.
— Ну вот, видите...
Она шумно выдохнула, вся обмякла и некоторое время сидела молча. Потом покачала головой:
— Хотя да, понятно... Не обратно же...
Длинная сережка в ее правом ухе хотела было поболтаться маятником — но стукнулась о щеку и обреченно повисла.
Вагонные динамики исполнили музыкальную заставку. Мягкий женский голос объявил о скорой остановке.
— Подъезжаем, — сказал я. — Мне выходить.
— Вы тут живете?
— Не совсем. Еще час на автобусе.
— И не расспросила ни о чем... Все про себя, да про себя...
— Ничего, в следующий раз.
— Конечно. Я вам визитку дам. Мужа.

Порывшись в сумочке, она протянула мне картонный прямоугольник. На нем значилось:

Ivan I. Zheludenko,
Shashido Chemical Research Institute,
Heterocycles Synthesis Lab.

— Вот адрес, — ткнула она пальцем в уголок, — вот телефон. Звоните.

— Обязательно, — кивнул я.

— Мы должны держаться вместе.

— Безусловно.

— А у вас визитка есть?

Я выразительно похлопал себя по всем карманам.

— С собой нет. Извините.

— Ну ничего. Напишите телефон, я вам позвоню.

Я потер лоб.

— Вы знаете, на днях переезжаю. Номер сменится.

— Тогда звоните вы нам. Мы еще долго здесь будем. Нам, скорее всего, контракт продлят. Хотя это не сто процентов — японцы такие непредсказуемые! Но мы надеемся.

— Желаю удачи, — сказал я, засовывая папуаса в сумку. — Разрешите...

Поезд уже тормозил.

Ее духи и туманы следовали за мной по перрону, карабкались по лестнице, дышали мне в затылок, когда я проходил выходной турникет, и отстали только на привокзальной площади, когда я побежал к отходящему автобусу. Вскочив на подножку, я обернулся и по-драконьи изрыгнул пивные испарения. Они смешались с выхлопным газом и повисли дымовой завесой.

В автобусе сидели бестолковые, непредсказуемые и злонамеренные люди, погрязшие в беспардонном любопытстве и косноязычной болтливости. Пройдя сквозь их недобрые взгляды, я уселся на самом заднем сидении. Автобус тронулся. Выпитое пиво плескалось в животе морским прибоем, отдавалось в голове и убаюкивало.

В окно кто-то поскребся. Я отодвинул занавеску и увидел цаплю. Она лихо гребла по воздуху жилистыми крыльями и радостно скалила клюв. Куцый хвост вертелся, как пропеллер, а тощие ноги работали брассом.

— Привет! — сказал я цапле. — Ты откуда?

— Из Хабаровска, — ответила цапля.

— Ну, и как там?

— Холодно! — Она поежилась на лету.

— А здесь не холодно?

— Не... Здесь погано!

— Погоди, — сказал я. — Какой еще Хабаровск? Сюда не летают цапли из Хабаровска!

— Раньше не летали, теперь летают. Теперь даже панды летают.

— Какие панды?

— Гималайские. Сам-то откуда?

— Из Черемушек.

— Оно и видно.

— Ты мне голову не морочь, — сказал я. — Цапли летают сюда с Филиппин. И не на зиму, а на лето. Из России сюда летают гуси-лебеди и жуки-носороги.

— А может, я носорог?

— Может... Вон здоровая какая...

— Это потому, что я чай пью.

— С пряниками?

— Ага.

— Куда летишь-то?

— В Гондурас.

— Зачем?

— За укропом. Полетели вместе?

— Не хочу, лети одна...

— Нет, вместе!

Цапля протаранила стекло, схватила меня клювом за шиворот и потащила наружу. Сначала я отбивался, потом застрял в окне. В живот впились острые осколки, я заорал, засучил ногами, задергался. Цапля царапала меня когтями, хлестала крыльями по роже и блеяла:

— Вме-е-е-есте!..

Кто-то хлопнул меня по колену. Я разлепил глаза. Надо мной стоял водитель.

— Приехали, — сказал он. — Конечная остановка.

Салон был пуст. За окном светились фонари автовокзала. Я взял сумку, заплатил за проезд и, пошатываясь, вышел. Отработанное пиво повлекло меня к уединенному строению с синей фигуркой на белом кафеле. Внутри ползали упитанные сверчки. Они важно шевелили усами и внимания на меня не обращали. В раковине спал жук-носорог. Я переложил его повыше, чтобы он не захлебнулся.

Вдоль тротуара выстроились белые Тойоты с зелеными огоньками. Сидящие внутри таксисты читали газеты.

— Нет, — подумал я. — Пойду ногами. Освежу сознание.

Едва я миновал вереницу такси, как рядом затормозил ярко-красный Ситроен. Левое стекло опустилось, и донесся голос:

— Бадыму!

— Опаньки, — сказал я и нагнулся к окну. — Привет!

— Бонсуар. Ты куда, в «Сатындору»?

— Нет, домой...

— Я думал, придешь сегодня.

— Ой! — я хлопнул себя по лбу. — Четвертая пятница, да? Забыл совсем. Подвезешь?

— Садись.

В салоне пахло Шанелью, и пел Брассанс. Я кинул взгляд на заднее сидение. Там лежал знакомый мне черный футляр, а в футляре - благородное орудие из потускневшей меди, тридцатилетний «Selmer», когда-то купленный за бешеные деньги на Гиндзе. По легенде, к нему прикасался едва ли не Бен Вебстер. А теперь, на правах хозяина, в него дул служащий страховой компании по имени Масао Кавасаки. Сегодня выпал на редкость удачный день, совсем без переработок — Масао не только успевал к первому отделению, но даже имел время заскочить домой и сменить постылый черный пиджак на тельняшку от Готье.

— Откуда шел? — спросил он меня, закручивая руль, как штурвал фрегата.

— С вокзала. Из Токио вернулся.

— Командировка?

— Типа того.

— Эх! — вздохнул он. — Я бы тоже в Токио катался. Надоедает в полях сидеть. Но не посылают. По должности не дорос.

— Ничего, — сказал я. — Повысят когда-нибудь.

— Ну да, повысят... И отправят куда-нибудь на Хоккайдо.

— Что, порядок такой?

— Ага. Никуда не денешься...

Он последний раз крутанул штурвалом, и мы въехали на стоянку. Там уже запарковался огромный черный Фольксваген. Рядом стоял дюжий мужчина с кучерявой головой и выгружал из открытого багажника большие круглые коробки.

— О-о-о, Бадыму! — воскликнул он, увидев меня. — Давно не виделись!

— Гутен абенд, Накамура-сан, — сказал я, пожимая его здоровую лапу. — Что новенького в бундеслиге?

— Играют потихоньку. Следишь?

— У меня не ловит.

— А ты тарелку поставь, и будет ловить.

— Хорошо.

— Заходи как-нибудь, я тебя проинструктирую. Пива попьем...

— Баварского?

— Ха-ха-ха... Для тебя найду баварского. Ладно, понес...

Он взвалил на плечи самую большую коробку и двинулся через узкую проезжую часть — туда, где над распахнутыми дверями светились неоновые буквы «Satin Doll». Из кармана у него торчали барабанные палочки.

Я взялся было за коробку поменьше — но тут же поставил ее на место, поскольку на стоянку въехала голубая Мини. Вышедшая из нее девушка носила косынку, жакет и длинную юбку. В черных волосах спряталась одинокая косичка.

— Привет, Кейко, — сказал я.

— Hi, — ответила Кейко и улыбнулась.

— А где твой траур по леди Диане?

— Решила, что хватит.

— Ну и правильно. Тебе и не шло совсем.

— А это? — она тряхнула косичкой.

— А это идет. Что сегодня играем?

— Тебе будет сюрприз. Потерпи немного.

Надсадно тарахтя и кашляя, к стоянке подъехал старый, раздолбанный Фиат. Из него вылез долговязый парень с очками на носу и трубой под мышкой. Помахал рукой, подошел.

— Здравствуйте, синьор Хамада, — сказал я. — Когда же вы, наконец, купите себе Феррари?

Хамада меланхолично покачал головой:

— Еще не скоро. Когда денег накоплю...

Он поднес трубу к губам, зажмурился — и стремительно взбежал вверх по звукоряду, остановившись на пронзительной, дрожащей ноте. Накамура в дверях одобрительно крякнул и направился к машине за следующим барабаном. Я отошел чуть в сторону, сел на поребрик и стал за ними наблюдать.

Ребята, игравшие в секстете Кена Судзуки, знали толк в буклях и чепчиках старушки Европы. Их соотечественники все еще завороженно глядели на Восток, где по прериям скакали храбрые ковбои на красивых мустангах, — а эти снобствующие эстеты отвернулись от Востока и уставились на Запад с его гулкими замками, падающими башнями и красными винами. Самоуверенные пижоны из секстета Кена Судзуки потешались над Голливудом, морщились от бейсбола и нюхать не могли гамбургеров. Виски для них существовал только шотландский, а футбол — только английский. Родео не тянуло против корриды, а Статуя Свободы была сосунком рядом с римской волчицей. Казалось, по ту сторону Тихого Океана нет вообще ничего, достойного внимания. Ничего, или почти ничего. Ничего, кроме одного единственного. Того единственного, без чего они не могли.

Ребята из секстета Кена Судзуки не могли разлюбить американский джаз. Не могли и не хотели. Джаз был сильнее всех европейских прелестей, вместе взятых. Уже ради него одного стоило открывать Новый Свет, везти туда черных невольников, воевать потом за их освобождение и с трепетом ждать, что же они споют, когда очухаются.

Эта позавчерашняя музыка, вся давно сыгранная и кем только не похороненная, никак не желала умирать. Великие музыканты ушли, но их синкопы остались — и этими синкопами джаз отчаянно цеплялся за души тех, кто родился позже. Из десятка тысяч душ зацеплялась сотня. Если хотя бы шестеро из этой сотни начинали играть, то их уже хватало на секстет. Покуда они играли, джаз продолжал жить. Сложная музыка, но простая арифметика.

Я сидел на поребрике и смотрел, как они таскают барабаны, как болтают о какой-то ерунде, как смеются, курят, смотрят на часы. Как пальцы у Хамады вхолостую бегают по клапанам. Как у Накамуры уже подрагивают кисти и притопывает нога. Как показалась из-за угла сутулая фигура с гитарным чехлом, и все обрадовались, что пришел Дзюнтаро — безлошадный любитель всего ирландского — и теперь остается только дождаться Кена.

Кен Судзуки приехал на белом Ниссане. Его космополитизма хватало лишь на музыку — а во всем остальном он был патриот и не разделял пижонских увлечений Востоком и Западом. Его заведение под названием «Судзукия» было небогатым, но зато выдержанным в правильной эстетике. Посетители разувались при входе, всходили на циновки и усаживались на подушки из гречишных отрубей. Из динамиков лились звуки сямисэна и кото, а со стен улыбались маски богов. Сам Кен обычно стоял за прилавком, облаченный в фартук и вооруженный острым ножом для разделки сырой рыбы. Но сегодня, в четвертую пятницу, он оставил за прилавком сына — а сам погрузил в багажник контрабас и отбыл для ежемесячного поклонения другим богам.

Стоянка опустела. В двери кафе заходили люди. Я еще немного подышал воздухом и тоже зашел. Публики было немного, человек пятнадцать. Дзюнтаро сидел с гитарой, дергал струны и крутил ручки усилителя. Накамура прилаживал последний барабан. Остальные четверо пили кофе за столиком в углу.

— Бадыму, добрый вечер! — донеслось из-за стойки. Тараги-сан приветливо потрясал кулаком и топорщил усы. Я потряс кулаком тоже, за неимением усов наморщил нос, подошел и сел на вертящийся стул.

— Пива? — спросил он меня.

— Что угодно, только не пива, — сказал я. — Пиво я сегодня уже пил.

— Виски?

— Лучше бы чаю. Все равно какого.

Он понимающе покивал и взялся за чайник. Кто-то хлопнул меня по спине. Я обернулся.

— Бады-ы-му! Давно не виделись!

— Давно не виделись, Юко-сан. Что нового?

— Сейчас все расскажу! Хорошо, что ты тут.

Юко села на соседний стул, положила сумочку на колени, заказала кофе и повернулась ко мне.

— Была вчера на ночном дежурстве. Приехала скорая, привезла женщину. Нервный стресс. Еле дышит, на ногах не стоит. Уложили под капельницу. Японского не знает, английского не знает, ничего понять не может, что мы ей говорим. Даже врач растерялся. Потом оказалось — русская!

— Ага, — сказал я и придвинул к себе бокал с зеленым чаем.

— К утру немножко отошла, перевели в палату. Потом муж приехал. Он тут недалеко рис выращивает, а жена у него из Хабаровска, недавно привез. Ужас! По-японски не говорит, по-английски не говорит, мужа не понимает, свекровь не понимает, японскую еду не ест, работать в поле не умеет. Я ей сказала, как ты научил: «мэня дзобутто Юко» — и она заплакала.

Я молча отхлебнул из бокала.

— А ее зовут Рюбобу.

— Как?!

— Рюбобу. Она сказала, что можно говорить «Рюба». Это одно и то же?

— Да, уменьшительное...

— Я ей рассказала про тебя. Кажется, она поняла. Сходишь к ней? Она очень хорошенькая. Тебе понравится. Немножко толстовата, но ничего. Обрадуется, что ты пришел, и сразу выздоровеет.

Я поднял глаза к потолку и представил себя идущим по больничному коридору. На плечи небрежно накинут белый халат, в руке гвоздика. Иду уверенной походкой мимо них — такой нелюбопытный и некурящий, молчаливый и гладкоязычный, толковый и пардонный, добронамеренный и предсказуемый. Принц на белом коне.

В серых яблоках.

С гнедыми подпалинами.

И сивым отливом под вороной шерстью.

— БА-ДЫ-МУ!!! Ты уснул?!

Я оторвал взгляд от потолка и хотел вернуть его к бокалу — но по дороге он застрял на исполинской Барби, которой Тараги-сан концептуально украсил интерьер. Несчастная кукла висела под потолком на невидимых глазу нитках, растопырив руки и ноги, как контуженная. Ее изысканные кружева, ленты и оборки конвульсивно подрагивали под вентилятором.

Я повернул голову налево.

— Юко, ты знаешь, чем сатин отличается от атласа?

— Что?

— Это кафе называется «Satin Doll». «Атласная кукла».

— А я думала, это значит «тринадцать долларов»...

— Почему?

— Ну как... «Сатын» — это же тринадцать?

— Тринадцать по-другому пишется. Но я раньше тоже думал неправильно. Думал, это значит «сатин». Такой материал, из которого трусы шьют. Потом глянул в словарь — а это «атлас».

— И что?

— Да нет, ничего. А вообще, «Satin Doll» — это песня Дюка Эллингтона.

— Знакомое имя.

— Мне еще интересно, кто его на эту песню вдохновил. Тараги-сан считает, что вдохновила вот такая.

Юко склонила голову набок и посмотрела на Барби.

— Не думаю, — сказала она. — Та была негритянка.

— Возможно, — согласился я. — Но цвет здесь не важен. Атлас может быть любого цвета. «Атласный» — это на ощупь. И что самое интересное: с текстильной точки зрения, сатин — это тот же самый атлас. Только не из шелка, а из хлопка.

— Ты это все к чему?

— Да так... Получается, что кукла может быть и из сатина. Только разве такая кукла вдохновит Дюка Эллингтона?

— А такая вдохновит? — Юко показала на Барби.

Я вздохнул. Потом полез в задний карман и вынул оттуда белую картонку.

— Вот. Передай это своей больной Любе. Пусть звонит.

— Дзе-ру-дэ-н-ко, — прочитала Юко. — Город Сясидо... Так это же не ты!

— Не я. Но это лучше, чем я.

— Почему?

— А ты представь сатиновые трусы с джинсовой заплаткой. Красиво?

— Не очень.

— Ну вот, видишь...

Юко задумалась, опершись подбородком на ладошку. Потом спросила:

— А этот, которого она вдохновила, — он еще живой?

— Он вечно живой, — ответил я. — Послушай!

Труба Нацуо Хамады мягко и неторопливо выдавила одну за другой восемь робких, приглушенных нот. Восьмая осталась висеть в воздухе неподвижным матовым лучом, который тут же начали обволакивать томные стоны басовых струн, нежные фортепианные трели и важное урчание сакса. Убедившись в поддержке, луч покачался вверх-вниз, поиграл цветами и погас. Это была первая прикидка — после нее те же самые восемь нот двинулись по разведанной дороге уверенно и дружно, как фарфоровые слоники по комоду. Восьмой слоник остановился на краю, расправил ушки, поднял хобот и затрубил торжественно и протяжно — а вокруг него снова засуетились клапаны, клавиши и смычок, взбормотнули что-то шесть струн потоньше, подползла шелестящая латунная тарелка. Слоник протрубил все, что ему полагалось и сиганул с комода. Пока публика глядела ему вслед, Масао Кавасаки набрал в грудь воздуха, охватил губами мундштук — и вместо восьми прежних нот выдал целых двадцать, накидал их зигзагами и петлями, а последнюю притащил туда, где его уже ждали остальные. К тому моменту смычок был отложен, на толстой струне лежал мозолистый палец Кена Судзуки, а кучерявый Накамура изготовился к хорошему удару сразу по двум тарелкам. Для пущей верности Масао слегка приподнялся на цыпочках, взмахнул локтями — и все шестеро синхронно вступили на «Мост в Челси».

В год, когда Билли Стрэйхорн написал для Дюка Эллингтона «Chelsea Bridge», в Темзу падали немецкие бомбы. То был год, когда Сталинградский тракторный клепал тридцатьчетверки, адмирал Ямамото посылал самолеты на Пёрл-Харбор и по всей планете гремели лишенные синкоп марши. Но с тех пор из Темзы утекло много воды. Бомбы смыло в море, Европа помирилась, на Гавайях сильно выросла японская диаспора, а могила Рихарда Зорге заросла травой. Джаз — он же фьюжн, он же фанк, он же рок-н-ролл — подступил под самые Мытищи. Теперь, чтобы его не услышать, надо было засунуть голову в самовар.

После «Моста в Челси» они сыграли «Апрель в Париже». Затем — «Ночь в Тунисе». Следом — «Девушку из Ипанемы». Дальше — «Мамбо Италиано». Потом Кейко подвинула к роялю микрофон, взяла несколько аккордов, и я услышал:

«Every night you hear a croon of Russian lullaby...»

Обещанный сюрприз удался. Поймав несколько взглядов, брошенных со сценической площадки в мою сторону, я оттопырил большие пальцы и поднял их повыше. Весь секстет заулыбался.

Кейко продолжала петь — но ее вдруг заглушил взрыв хохота на баллюстраде второго яруса, где расположилась компания говорливых американцев. Юко нахмурилась, отодвинула чашку и проворчала мне на ухо:

— Слышишь, Бадыму? Опять эти гайдзины понаползли!

В следующее мгновение до нее дошел смысл сказанного. Она уронила голову на стойку и затряслась в смехе и смущении. Я похлопал ее по плечу — мол, ничего страшного... Не отрываясь от стойки и продолжая хохотать, она повернула сильно порозовевшее лицо ко мне:

— Бадыму!!! Я забыла, что ты тоже!..

— Тс-с-с-с! — сказал я. — Нам играют колыбельную.

Однако убаюкивать нас никто не собирался. Едва затих последний всплеск повторивших всю тему клавиш, как Накамура с бешеной скоростью замолотил по тарелкам. Кавасаки выступил вперед, его узловатые пальцы легли на клапаны тенора — и «Русская колыбельная» Ирвинга Берлина превратилась в то, что сорок лет назад сотворил из нее Джон Колтрейн.

Хард-боп. Sheets of sound. Тысяча нот в минуту. Четыре аккорда вместо одного. Колыбельная, которой можно перебудить все Черемушки и все Мытищи. Ритм, под который не смаршируешь. Позавчерашняя музыка, всегда глядящая в завтра.

Кавасаки был в ударе. Его глаза зажмурились, ногти побелели, шея раздулась змеиным капюшоном. Он не хотел на Хоккайдо, он хотел в Париж. И все шестеро чего-то хотели — по крайней мере, пока играли. Они хотели неизведанных гармоний и неожиданных синкоп, неопробованных стилей и неподхваченных тем. Хотели втянуть в себя все сыгранное другими и выдать свое. Хотели, чтобы вселенская скука наконец скукожилась. Чтобы лохматые медведи и толстые слоны навсегда убрали свои свинцовые лапы с ушей человечества.

Завтра эти шестеро наденут пиджаки и фартуки, выслушают гимн фирмы, поклонятся богам и встанут по своим ячейкам. Завтра их жестко построит Социум, внешне они станут неотличимы от миллионов других солдат этого войска. Их ждут внеурочные, общественный долг и преодоление жизни. Они готовы к этому, им не привыкать. Но сегодня — четвертая пятница. Сегодня они играют хард-боп. Сегодня они похожи только на самих себя. Они свободны.

Из разверстого медного чрева исторгались умопомрачительные пассажи. Нотам было тесно в прокуренном воздухе кафе, им не хватало слушателей. Под мощным звуковым напором распахнулось окно, ноты хлынули наружу, стали разлетаться по улицам вечернего города и окрестным рисовым полям. Белая цапля, прикорнувшая на меже, была грубо разбужена дикими звуками «Русской колыбельной». Ноты молотили ей по голове и застревали в перьях. С перепугу цапля поднялась в воздух — там по ее клюву прошлись барабанные палочки, а под дых ударила горячая волна, прилетевшая из трубы Нацуо Хамады. Цапля чирикнула, перекувырнулась через голову и окончательно проснулась. Воздух был густо наполнен джазом. Отрывистые аккорды рояля били в левое крыло, гитарные струны — в правое. Звон тарелок щекотал ноги, а контрабас рассыпался по спине мягкими тычками. Не в силах больше противиться, цапля сделала мощный взмах, потом еще взмах, потом несколько взмахов — а потом вытянула шею и легла на гребень джазовой волны.

Над рисовыми полями со скоростью звука летела большая белая птица. Сверхскоростные поезда не поспевали за ней — у них не было такого свинга и такого куража. Из домов выбегали разбуженные люди в сатиновых трусах, задирали головы и смотрели в темное небо. Сверху они казались куклами, глупыми болванками без глаз и ушей — но птица не спешила их презирать. Она знала, что у каждого есть шанс сыграть свою музыку. Или вдохновить на музыку. Или хотя бы услышать свою музыку. Нужно только дождаться этого шанса. И не упустить его.

Впереди показались очертания Птичьей Земли. Старый слепой пианист уже склонился над клавишами для другой колыбельной.

декабрь 2000г.

Перекресток

В пятничный вечер на работе засиделись немногие. Университетская стоянка пустовала — лишь полдюжины машин терпеливо дожидались своих владельцев. Оставалось определить, которая из них дожидается меня.

Поднимая воротник, я взглянул вверх. Небо было черным в густую белую крапинку. Достигнув автомобилей, крапинка превращалась в белила. Из шести одинаковых сугробов мне предстояло выбрать один, спрятавший мою Хонду.

Из этой торчит антенна. Не моя, идем дальше... У этой подняты щетки, я точно не поднимал... Эта какая-то слишком маленькая... Эта слишком большая... Вот следующая похожа. Надо номер откопать, посмотреть... «Нагасаки»... Нет, тоже не моя. Значит, моя последняя.

Десять минут на раскопку и отогрев. На лобовом стекле изморозь, обычное дело: не хочешь ждать — отшкрябывай. Только бы вытянуть со стоянки, а там дорога чистая, только что грейдер прошел.

Однажды меня отловили на улице некие местные корреспонденты и взяли блиц-интервью для радио. Здравствуйте, незнакомый иностранный господин, скажите пожалуйста, нравится ли вам у нас? Да, сказал я, мне у вас необыкновенно нравится. Зимой тут у вас метели, сугробы, гололед, холод — все как на моей любимой родине, без которой я скучаю. Корреспонденты очень смеялись такому изящному повороту мысли. Потом из этой реплики сделали заставку для еженедельной краеведческой программы, и добрых полгода я был радиозвездой.

Минуту пришлось побуксовать, поерзать, подергаться взад-вперед, пока на отчаянном рывке колеса не зацепились за край колеи, наезженной учеными профессорами. Переваливаясь с боку на бок и царапая пузо ледяными комьями, моя бедная Хонда поползла к выезду.

Грейдер потрудился ударно. Отвалы снежной массы громоздились по обеим сторонам дороги, как горные хребты. Двухполосная проезжая часть за неделю сузилась до однополосной — только-только разъехаться. Впереди была белая свистопляска и никакой видимости — лишь красное пятнышко светофора помаргивало сквозь снегопад. Я доехал до перекрестка, остановился и стал ждать смены сигнала.

Мой путь пересекала широкая и оживленная трасса. Сейчас она тоже стала вдвое уже, чем всегда была, а поток машин вытянулся и замедлился. Их еле видные силуэты медленно проплывали через перекресток, напоминая караван из усталых верблюдов. Покорные своей верблюжьей судьбе, они терпеливо пробирались меж высоких барханов, ступая копыто в копыто.

За неделю нас завалило таким количеством снега, какое здесь никогда не регистрировалось. По выпавшим осадкам в этом январе мы обогнали Хоккайдо. Масс-медиа всячески обсасывали эту радостную новость. Раньше здесь гордились самыми крепкими глиняными горшками, самыми горячими гейзерами и самой длинной лапшой. Теперь список славных рекордов пополнился высотой снежного покрова. Жаль, что ненадолго.

Караван все шел. Прошло минут десять, а светофор и не думал переключаться. Перед носом у меня прополз целый зоопарк — верблюды и черепахи, слоны и гиппопотамы, зебры и броненосцы... Набычившись, они торили дорогу в тучах белых москитов. Я следил за их зыбкими очертаниями, покуда мне не стали мерещиться страусы и шимпанзе. Потом встряхнулся и задумался.

Думать пришлось недолго. Всему виной оказался научно-технический прогресс. Сигнал переключался не абы как — а по команде от фотоэлемента, прицепленного к выносной штанге и глядящего на проезжую часть. Целился он строго в середину левого ряда, погребенную под снежными торосами. Еще бы светофор меня увидел с таким бельмом на электронном глазу.

Попытки притереться к торосам вплотную и попасть в поле зрения аппаратуры результата не дали. Я вылез наружу. Штанга с фотоэлементом крепилась на фонаре, и на том же фонаре — я помнил это по летним прогулкам — располагалась кнопка для пешеходов. Добраться бы до кнопки.

Я вскарабкался на снежную гору, ухватился за фонарь, раскидал носком сапога свежую порошу, попинал более плотные слои... Полметра надо прокопать. Или даже метр. Саперной лопатки в моем багажнике не нашлось — нашлась только горнолыжная палка. Вооружившись ей, я поковырял снег вокруг фонаря. Снег ковырялся плохо.

Бросив эту глупую затею, я попытался сам изобразить автомобиль — взял в руки полы расстегнутого пальто и сделал ласточку на краю снежной кручи, словно хотел с нее спланировать. Фотоэлемент старательно пялился на меня сквозь летящие снежинки, но за своего не признавал. Тогда я надел шапку на конец лыжной палки, поднял ее вверх и принялся медленно размахивать пред электрическим оком.

— Эй, мужик!..

Я обернулся.

— Что за масонские ритуалы?

Федька высовывал голову из окна своего новоприобретенного драндулета. Я и не заметил, как он подрулил.

— Дорогу дашь?

Я спрыгнул с горы, подошел к нему и доложил обстановку.

— Ну-ну, — сказал Федька. — Я тоже без лопаты. А с той стороны что, никто не подъезжает?

— Отсюда не видно. Может, там у них такая же петрушка.

— Вот ведь как... Абрамычу надо рассказать. А то он заладил: Восток, Восток...

— Что делать-то будем?

— Хороший вопрос. Классический. «Что делать?»

— Сухари сушить.

— Да не сухари, а спасать бессмертную душу. Я тебе уже излагал. Спасаться надо, а все остальное ересь. Ересь будем давить.

— Я понял, понял... Вот сейчас, в данный момент, что делать?

— Ну чего... Разворачиваться — узко. Сдавать назад — не видно куда. Остается только вперед. Сели, да поехали.

— На красный?!

— А чего, гаишников сейчас нету, погода не та. Давай, ты первый, я за тобой.

— Метель же! Не разглядят, стукнут...

— Сильно не стукнут, они медленно едут. Или давай парой: ты справа, я слева. Если слева стукнут, то меня. Если справа, то тебя. Риск пополам.

— А может, наоборот — пусть справа тебя стукают, а слева пусть меня?

— Хитрый какой! Я первый сказал. Короче, едем рядом и оба бибикаем. Вместе громче будет. Ну-ка, нажми.

Я нажал. Федька нажал тоже. Получилось громко.

— Ты ниже звучишь, — сказал Федька. — Давай так: секунду я, секунду ты. Устроим сирену. А еще окна откроем, и музыку на полную катушку.

Я опустил оба стекла и прибавил громкости. В магнитофоне крутилось третье действие «Хованщины». Шакловитый тянул свою арию:

— Ни-и-спо-о-шли-и ты-ы ра-а-зума све-ет благода-а-атный на Ру-у-у-усь!..

Федька подрулил справа. В его магнитофоне во всю дурь пиликал ресторанный электроорган. Допиликав положенное, он уступил место пропитому голосу шансонье:

— Сидел я в Омске!.. Сидел в Иркутске!.. Эх мне бы водки!.. Да мне б закуски!..

— Пошла сирена! — заорал Федька и вдавил клаксон. Я несколько замешкался со своим полупериодом, и сирена едва не захлебнулась, не успев родиться. Кособокая и спотыкающаяся, она поплыла через перекресток — сквозь шансон, снегопад и хованщину.

— БИИ - ПУУ - БИИ - ПУУ - злосча - а - а - а - БИИ - ПУУ - БИИ - цидивист - ПУУ - БИИ - ПУУ - БИИ - страда - а - а - БИИ - ПУУ - БПИУ - окурор! - ПУУБИУУУ - ...

— Давай, пошел! — Федька дотянулся головой до левого окна и призывно ею подергивал. Я осторожно тронулся, забирая чуть вправо. Автомобильный поток оттуда все тянулся, плохо реагируя на дикие звуки из-за сугробов. Подобравшись к потоку вплотную, я перестал сигналить, высунулся в окно, изогнулся шеей как бы кланяясь и стал мелко-мелко рубить воздух ребром ладони. Две машины проигнорировали этот классический жест, а третья затормозила. Я изобразил два глубоких поклона, газанул, перегородил ряд и стал ждать Федьку. Он тоже выключил свою половину сирены, тронулся, поравнялся со мной теперь уже слева, обошел на полкузова — и заглох.

Причиной тому была кучка снега, оставленная грейдером посреди перекрестка, этакий длинноватый бугор высотой с нетолстое бревно. Преодоление сего барьера оказалось для подержанного и видавшего виды драндулета задачей не из простых. Федька снова завел двигатель, произвел несколько пробных газований и принялся заново штурмовать каверзную преграду.

Ресторанный певун еле пробивался сквозь рев мотора:

— Колыма...ВЖЖЖЖ...спомина...ВЖЖЖЖЖ...рушку ма...ВЖЖЖЖЖЖ...

У меня запел хор стрельцов:

— Гой, гой, прибодрись!!! Гой, гой, поднимись!!!...

Поток слева остановился и тоже стал болеть за Федьку. Уткнувшиеся в меня справа недовольно бибикали. Решив тогда и следующий ряд миновать первым, я тронулся, наехал передними колесами на бугор и тут же затормозил — потому что от потока слева отделилась белая Тойота и пошла вперед. Ее водитель, видимо, пришел к выводу о нескором завершении федькиных стараний. Но тут драндулет собрал последние лошадиные силы, заревел тремя белугами, перевалил через бугор, как Суворов через Альпы, — и с треском врезался Тойоте прямо в бок.

— Ах, окаянные пропойцы! — заголосил хор стрелецких жен. — Ах, колобродники отпетые!..

Искореженная дверь Тойоты приоткрылась и судорожно замолотила по федькиному бамперу, желая распахнуться. Федька сдал назад. Из Тойоты выпрыгнул водитель, присел на корточки и принялся сканировать вмятину носом. Я поставил машину на ручник и тоже выбрался наружу. Пострадавший обернулся, увидел одного, увидел второго, изменился в лице и пробормотал:

— Иностранные люди...

Поднявшись с корточек, он не очень уверенно произнес:

— Но ведь вы ехали на красный свет, не правда ли?

— Что он говорит? — спросил Федька.

— Говорит, мы ехали на красный.

Федька растерянно посмотрел куда-то вбок и вдруг выпалил, схватив меня за локоть:

— Гляди!!!

Наш светофор горел зеленым.

— Грин! — закричал Федька, обращаясь к пострадавшему и тыча пальцем в светофор. — Лук! Итыс грин!

Пострадавший в недоумении перевел взгляд с иностранных людей на зеленый кружок. Потом обратно на иностранных людей. Потом до него дошло.

— Ноу, — твердо сказал он и помахал перед носом ладонью влево-вправо. — Ноу! Ай гоу грин! Ю гоу рэддо!

— Лук! Лук! — твердил Федька и пронзал пальцем летящие снежинки.

— Ноу! Ноу! — повторял незнакомец и разгонял снежинки ладонью.

Упершиеся в нас машины встречного потока возмущенно сигналили, требуя дорогу.

— Давайте отъедем вон туда, — предложил я, кивнув на продуктовый магазин с широкой площадкой, который был у нас слева по курсу.

— Вы можете по-японски?! — обрадовано воскликнул пострадавший, мигом запрыгнул в свою Тойоту и стал крутить руль влево. Миновав высокие ворота, прокопанные в снежной горе, мы въехали друг за другом на площадку. Она была пуста — лишь одинокий торговый работник колупался на ней с портативной снегоуборочной техникой.

— Маэда! — представился нам водитель Тойоты и выдал обоим по визитной карточке.

— Репейников! — ответно представился Федька. — Профессор.

— Пожалуйте сюда, — сказал господин Маэда и подвел нас к правому боку своей машины. — Это след от столкновения. Ремонт будет стоить очень дорого.

— Правильно, — сказал Федька, когда я перевел. — А столкновение оттого, что вы ехали на красный.

— Давайте вызовем полицию.

— Вызывайте.

Скрипя снегом, наш новый знакомый направился к телефону-автомату.

— Слушай, Федор, — сказал я. — А оно тебе вообще надо? Сейчас приедут, будут тебя час мурыжить, потом штраф выпишут...

— За что штраф?

— За нарушение правил.

— Я не нарушал!.. Ты сам видел — нам зеленый горел.

— Не видел я никакого зеленого.

— А я видел! Он все равно не докажет, у него свидетелей нет. А у меня есть.

— Кто у тебя есть?

— Ты, кто еще...

Маэда что-то говорил в телефон. Федька нагнулся и пощупал бампер своего драндулета.

— Гляди, ту всю сплющило, а моей хоть бы что. Зверь машина! Никто не верит, что я ее за сорок тыщ взял.

— Почему никто? Я верю...

— А вот Абрамыч не верит. Завидует, наверно.

Маэда повесил трубку и подошел к нам.

— Полиция выезжает. Нужно подождать.

Он обозначил легкий поклон и скрылся в своей мятой Тойоте.

— Ну, подождем, — сказал Федька. — Подышим воздухом.

Я побродил минуту по площадке, подошел к снежным воротам и стал смотреть на ползущие мимо машины. Им опять горел зеленый.

— Знать бы тогда, — раздалось у меня за плечом. — И как это, интересно, они его зажгли?

— В полиции узнали, наверное, — предположил я. — Переключили на другой режим. Такие вещи наверняка продуманы.

— Ты как Абрамыч прямо. Ах-ах, у них все продумано!..

— Может, и не все, но многое...

— Лучше б они центральное отопление продумали. И двойные рамы.

— На Хоккайдо двойные...

— У тебя обогреватель в машине хорошо греет?

— Хорошо.

— Пошли залезем, посидим...

— Залезай, сиди. Я подышу еще. В магазин зайду...

— Ну, пошли в магазин.

В магазине я добросовестно изучил весь ассортимент и купил себе тюбик зубной пасты. Федор тем временем пролистал пять или шесть толстенных журналов с полуголыми девицами снаружи и рекламой внутри. Когда мы вышли, Маэда опять сидел на корточках перед своей Тойотой и водил носом по вмятине. Увидев нас, он встал, неловко потоптался и сказал:

— Никак полиция не едет. Пойду еще раз позвоню.

И опять заскрипел снегом, спеша к телефону.

— Мда, — сказал Федька. — Что-то непохож он на самурая...

Я достал из кармана визитную карточку.

— «Маэда Кохэй. Амэ-но пурадза. Тэнтё. Накабяку дори». Ну конечно, какой он самурай...

— А по-русски?

— «Кохэй Маэда. Дворец Рисовой Тянучки. Начальник. Улица Накабяку».

— На начальника, я бы сказал, тоже непохож.

— «Амэ-но пурадза», — повторил я. — Да, помню. Мы там с Шишкиной торт заказывали. Приятный такой магазинчик.

Маэда опять повесил трубку. Подошел.

— Говорят, уже выехали, но из-за погодных условий могут задержаться. Придется еще подождать.

— Ну что ж, — сказал я. — Мы же сами видим, какое движение.

— Да-да, — закивал Маэда. — Сплошной затор. Очень жаль...

Он глубоко вздохнул, опустился на корточки и снова уперся носом в помятый автомобильный бок.

Я присел рядом.

— Обе двери придется менять, да?

— Совершенно верно, обе. А может быть, еще и крыло.

— Тысяч двести, не меньше.

— Думаю, больше...

— Хорошо, что страховка есть.

— Конечно...

— Мой друг тоже застрахован. Думаю, все уладится.

— Будем надеяться...

— Можно было бы и без полиции, но раз уж у вас разногласия...

— Да, к сожалению...

— Эй, мужик, — послышалось сзади. — Пошли греться!

В машине было тепло. Кассета с «Хованщиной» только что докрутилась до конца и перевернулась обратно на третье действие.

— Пререкохом никоньянцев и препрехом! — пел хор чернорясцев. — Победихом, посрамихом ересь!

— Что за хренотень играет? — спросил Федька. — Поставил бы что-нибудь человеческое.

— Это Мусоргский, — сказал я. — Это поют раскольники. Старообрядцы.

— А-а-а, — протянул Федька. — Тогда ладно. Пусть поют. Уважаю.

Немного помолчав, он добавил:

— Это правильное искусство. Полезное!

У моего уха раздался стук по стеклу. Маэда-сан наклонился к окну и делал какие-то знаки. Я открыл дверь.

— Вот, — сказал он, протягивая нам две банки. — Ждать долго, холодно... Попейте кофе.

— Спасибо, — сказал я. — Вы очень добры.

— Уже скоро должны подъехать. Давайте еще чуть-чуть подождем.

— Давайте.

Баночный кофе из автомата был сладок и горяч. Он будил детские воспоминания о лыжных походах с термосом. Я пил его маленькими глотками.

— Ну точно начальник тянучки, — сказал Федька, опорожнив свою банку. — Столько ждать я не собирался. Пойти, что ли, домой позвонить...

Он порылся в карманах, нашел десять иен, вылез и пошагал к автомату. Минуту разговаривал, а потом повернулся в мою сторону и призывно замахал рукой. Пришлось выбираться наружу.

— Подтверди, что я целый, — сказал он и сунул мне к уху трубку.

— Вадичек, — послышался усталый голос. — Что там мое горе опять натворило?

— Ничего особенного, — сказал я. — Легкое столкновение. Жертв нет. Страховка все покрывает, вопрос только в проценте — кто насколько виноват. Поэтому ждем полицию.

— Вадичек, ты уж там побудь с ним, ладно? Вдруг чего непонятное. А потом заходи, я пельменей налепила. Зайдешь?

— Зайду.

— И еще тут Ваня какую-то бумагу принес, которую сам прочитать не может. Теряемся в догадках. Попробуешь разобрать, что там написано?

— Попробую.

— Что б мы без тебя делали. Давай мне Федора обратно.

— Алё! — вступил Федька. — Я ж говорил... Чего?.. Не остынут, подогреем... Не мог я в полшестого... У меня запарка, я плазму моделирую... Ага... Пока...

Он повесил трубку.

— С Ванькой не позанимался сегодня. Вот так вечно — заиграешься в тетрис, потом тебя готовы пополам распилить.

— А чем ты с ним занимаешься?

— Физикой, чем еще... В школе-то у них известно какая физика... А еще недавно географию с ним начали учить.

— Физическую?

— Отечественную. Изучаем родные рубежи. Начиная с восточных. Первое занятие посвятили Южным Курилам. Я ему объяснил, что это исконно русские земли.

— Ну-ну...

— А он на следующий день из школы приходит и говорит: папа, у нас в классе карта висит, так на ней показано, что это японские земли!

Федька ткнул меня локтем в бок, приглашая посмеяться.

— Ты понял, да? Удивился парень. Эти земли, говорит, в японский цвет закрашены. Шок случился у пацана.

Из магазина, неся что-то в охапке, вышел господин Маэда.

— Вы, наверное, проголодались, — сказал он, подойдя к нам. — Вот вам сэндвичи. Подкрепите силы.

Я сопроводил свой поклон витиевато-учтивой грамматической конструкцией. Федька выдавил из себя аригато. Развернув целлофан, мы вонзили зубы в белый хлебный мякиш, проложенный листьями салата и консервированным тунцом.

— А нельзя ли узнать, из какой вы страны? — спросил господин Маэда, дожевав и проглотив свой сэндвич.

— Мы из России, — проговорил я с набитым ртом.

— О-о-о-о, — сказал он. — Э-э-э-э-э... М-м-м-м... В России холодно, да?

— Не холодней, чем тут у вас.

— Ха-ха-ха!.. Это вы правильно заметили. Очень суровая зима. Но я слышал, что в России все-таки холоднее. Поэтому там пьют водку и едят пиросики. Вы любите пиросики?

— Смотря с чем. С капустой люблю.

— Как это «с капустой»? Внутри капуста? Я думал, внутри всегда мясо...

— Разные бывают. С картошкой, с рисом, с яйцом, с изюмом...

— Что вы говорите! Никогда не знал.

— С чем угодно можно сделать. Хоть с рисовой тянучкой.

— Вы умеете?!

— Увы. Я очень плохой кулинар.

— Жаль. Вы знаете, у нас кое-где делают, но ведь это совсем не то... А так хочется попробовать хотя бы один настоящий русский пиросики!..

— Если у нас будет, мы вас угостим.

— Спасибо, спасибо, — он поклонился. — Буду очень признателен.

Я выбросил целлофан в мусорный бак и взглянул на часы.

— Да, — сказал господин Маэда. — Это уже никуда не годится. Скоро час, как мы их ждем, а они все не едут. Пойду еще раз позвоню.

— О чем это ты с ним трепался? — осведомился Федька, когда мы остались вдвоем.

— Как обычно, о еде. О вечных ценностях.

— Значит, пошел на попятный. Мы его дожмем. В принципе, меня и пополам устроило бы.

Маэда снова подошел.

— Я позвонил, — сказал он. — Случилась неприятность. Они проехали только половину дороги и попали в аварию. Их сейчас вытаскивают из сугроба. Нас спрашивают, не разберемся ли мы сами.

— Конечно разберемся, — сказал Федька. — Фифти-фифти, и дело с концом.

Маэда вопросительно смотрел на меня, ожидая перевода.

— Мне кажется, — сказал я, — дело нужно передать страховым компаниям. Пусть разбираются они.

— Да, — произнес он. — Пусть разбираются. Но ведь картина... Ведь вы считаете, что... Хотя...

Он глубоко вздохнул. Посмотрел на небо. Посмотрел на землю. И сказал:

— Сёганай.

— А? — вырвалось у Федьки.

— Он согласен передать дело страховикам, — сказал я. — Он говорит: делать нечего. Классический ответ на классический вопрос.

— Он в самом деле так решил? Или это азиатская хитрость? Как думаешь?

— Тебе правда интересно, что я думаю?

— Нет, я просто спросил... А делать нечего — это у них классический ответ?

— Почему «у них»? Вспомни Иванушку-дурачка. Или «Капитанскую дочку».

— Ну, разве что дурачка... А вдруг мне страховики вломят по полной?

— Не разоришься. На то и страховка.

— Тут не в деньгах дело, — очень серьезно сказал Федька. — Тут дело в принципах. Если под каждого стелиться, то сам станешь, как Иванушка-дурачок. Только без царевны и без полцарства. Потому что не в сказке живем. Короче, ты ему скажи: на страховиков я согласен — но на красный свет все равно ехал он.

— Мой друг очень сожалеет о случившемся, — перевел я. — Он приносит вам свои извинения. Он надеется, что страховые служащие все сделают наилучшим образом.

— Ничего, ничего, — ответил Маэда. — Это вы меня извините, что я вас столько времени здесь продержал. Завтра я сделаю калькуляцию ремонта, и свяжусь со своим страховым агентом. А ваш друг пусть свяжется со своим. Потом созвонимся. Телефоны знаем. Договорились?

— Договорились. Всего доброго.

— Подождите! — Маэда-сан кинулся к своей Тойоте, открыл багажник и вернулся с круглой коробочкой. — К сожалению, с собой у меня только одна. Это фирменный товар нашего магазина. Кушайте на здоровье.

Он прижал руки к бокам, согнулся перед нами в поклоне, сделал два шажочка назад — потом распрямился, прыгнул в автомобиль, газанул, выбросил из-под колес снежные фонтанчики и исчез за ледяной горой.

Федька открыл коробочку и смотрел на аккуратные кубики рисовой тянучки.

— Мда... — сказал он наконец. — Я не устаю им поражаться. Ему бы нас сразу мечом на куски порубать — а он нас конфетами кормит. Что все это значит? Где логика? Куда они катятся?

— Восток! — сказал я. — Очень тонкое дело.

— Нет, я понимаю, — продолжал Федька. — Это реклама, это пиар, сейчас весь университет кинется скупать у него тянучку, и он разбогатеет... Но ведь еще шестьдесят лет назад вся нация кричала «банзай» и записывалась в камикадзе! Куда все это ушло? Почему так быстро? Мой сын учится у них в школе. Чему он там научится? Бить поклоны? Продавать рисовую тянучку?

— А лучше бы он стал камикадзе?

— Я хочу, чтобы он стал мужиком! Чтобы мог постоять за себя.

— Но ты же отдал его в каратэ?

— Отдал. Он занимается. Но сама атмосфера, вот я о чем...

— Тогда возвращайся.

Федька весь ссутулился. Помолчал.

— Поехали, — сказал он. — Пельмени ждут.

Я подошел к своей Хонде. Открыл дверь. Оттуда раздалось:

— Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы !!!

— Что это?! — дернулся Федька.

— Князя Хованского зарезали.

* * *

На плите булькала кастрюля с пельменями. Татьяна смешивала йогурт со сливками — получаемый эрзац служил у нас сметаной. Федька достал из холодильника бутылку «Столичной» и наполнил рюмки.

— К зубам прилипает, — сказала Татьяна, проглотив рисовую тянучку. — А так ничего, съедобно.

— Только мы его ничем не отдарили, — сказал я. — Это неправильно.

— А чем я его отдарю? — возразил Федька. — Виртуальной плазмой? Ему-то хорошо — он что продает, то всем и дарит.

— Он пирожки хотел попробовать. Напекли бы ему пирожков — глядишь, смягчил бы позицию.

— Так у него позиция и без пирожков мягкая, куда еще смягчать. Я ведь не зря говорю: они народ очень безобидный, и когда-нибудь их это погубит. Но нашему брату оно только на пользу. Выпьем же за японскую безобидность!

— Ваня, иди ужинать! — позвала Татьяна и принялась вылавливать пельмени шумовкой. Когда Ваня вышел к столу, я закусывал огурцом.

— Привет, каратист!

— Здрасте.
— Как в школе дела?
— Ой, Вадичек, пока не забыла! — Татьяна поставила передо мной тарелку пельменей, достала со шкафа какой-то бумажный лист и положила рядом. — Вот, принес и не может объяснить. А нам интересно, что это такое красивое дали.
— Грамотей! — сказал я. — Читать до сих пор не научился?
— Да я могу, — засмущался Ваня. — Тут просто эти сложные, как их...
— Они не сложные, они просто очень рукописные. Я тоже неважно такие разбираю. Хотя основное уже ясно — это почетная грамота.
— Я так сразу и подумал! — обрадовался Федька и сунул мне в руку вторую рюмку. — За наши победы!
Закусив пельменем, я потащил мизинец вниз по прихотливым закорючкам, каллиграфически выведенным черной тушью.
— Ну вот: «Иван Репейников». Фамилию-то разобрал?
— Разобрал. А дальше не могу.
— «...награждается за второе место на турнире...»
— Это каратэ! — сообразил Федька. — Тогда еще лучше. Сейчас отдельно выпьем за боевые победы.
— «...посвященном славной годовщине...»
— Подставляй рюмку.
— «...взятия Порт-Артура.»
Бутылочное горлышко подпрыгнуло, стукнуло по рюмке и опрокинуло всю водку мне в пельмени. Следом из стеклянного сосуда вылетело еще полста нечаянных грамм, распределясь по всему столу и частично по документу.
— ГДЕ?!?! — Федька вскочил, схватил грамоту, стряхнул с нее алкоголь. — Где это написано?
— Да вот. «Рёдзюн». По-китайски «Люньшуй». По-русски «Порт-Артур»...
Федька обвел нас непонимающим взглядом.
— Это они что, серьезно?
— Ну, а чего такого? Годовщина славная, разве нет?
Он перевел взгляд на сына.
— И ты там занял второе место?
— Да... — пролепетал Ваня. Он весь съёжился и, казалось, готов был сейчас же бежать исправлять роковую оплошность — только еще не понял, какое место от него требовалось взамен: первое или последнее.
— Федя, ешь пельмешки! — напомнила Татьяна. — Вадичек, давай я тебе других положу.
— Да ладно, — сказал я. — Всё в один живот. Какая разница, по очереди или сразу? Тем более, что и тост уже произнесен.
Облизав ложку из-под сметаны, я зачерпнул ей водки пополам с пельменной жижей.
— За боевые победы, Федор!
Федька поморщился. Сел. Налил. Выпил. Опять поморщился. И сказал:
— Ну, в общем, да... Чего, собственно... Дело давнее... Только все равно, пусть не думают... А то мы силенок поднакопим, да и заберем у них обратно.

— У них уже не заберем. Он давно уже не у них.

— Ну, заберем чего-нибудь другое... Мало ли... С работы чего-нибудь утащим...

В моей тарелке плавали два захмелевших пельменя.

— И с Дармоедой разберемся. Ирисками он нас не купит. Пусть собирает своих страховиков. Я скажу все, как было. Ты переведешь...

— Переведу... Легко... Все, как было...

Оставался один пельмень. Он злостно ускользал от моей вилки.

— Давай по последней, и начнем культурную программу.

— Нет, Федор, я уже пойду.

— Куда?! Сейчас кино будем смотреть! «Полицейская академия три».

— Мне кина на сегодня хватит... Дома стирка, уборка... На посошок, и все.

Я зачерпнул непослушный пельмень ложкой и поднял рюмку.

— За крейсер «Варяг»! — сказал Федька.

— Правильно, — кивнул я. — За честное и своевременное открытие кингстонов.

— Ты пораженец.

— Наверно.

— Тебе не стыдно?

— Стыдно...

От Репейниковых я обычно возвращался двором, но сейчас двор между блоками университетских квартир был непроходим. Выбравшись на узенькую расчищенную улочку, я двинулся в обход, мимо двухэтажных домиков за невысокими каменными заборами. У некоторых калиток срабатывали фотоэлементы — тогда загорался фонарь, и становился виден заваленный снегом садик: торчащие из сугробов низкие деревца и белые бугры над камнями. На одном крыльце стояла молодая женщина с зонтиком — она стряхивала с него снег, чтобы сложить. За спиной у нее, уронив набок черную голову, спал младенец в кенгурушнике. В желтом свете фонаря розовели голые пяточки.

Наверное, тоже из гостей, — подумал я.

май 2001г.

Экспонат

Первый день седьмого месяца выдался ясным. Восходящее солнце без помех дошло до зенита и ударилось в беспредел. С наслаждением садиста оно водило огнеметом туда-сюда по береговой линии, испепеляя городские улицы, портовые доки, иностранные суда у причалов и стоянки подержанных автомобилей. Морская набережная Фуругаты, по которой мы ехали, готова была расплавиться и дымящейся лавой уползти в соленую воду.

— Пива хочу, — произнес Берлогин. Он изнемогающе пошевелил кожной складкой на затылке и развернул голову вправо. — Купим пива?

Мимо окон проносился океанариум. Там сейчас ползали по бетонным плитам одуревшие котики, и пингвины тихо тосковали по Южному Полюсу. Короедов нервно сморгнул, сильнее сжал руль и нахмурился.

— Если увидим в автомате, то купим, — сказал он. — Специально искать времени нет.

Берлогин помолчал немного, затем продолжил разворот головы и наставил ее на меня. Лицо его расплылось в ласковой улыбке.

— Головка не бо-бо? — спросил он.

— Немножко есть, — ответил я, изобразив веселое подмигивание.

— Задал ты вчера перцу! — Берлогин потерся щетиной о край подголовника. — Всех удивил.

— Чего я задал?

— Не помнишь?

— Нет...

— Оперу ты вчера пел. Прям на улице, посреди ночи. Я думал, стекла в домах полопаются.

— Это уже после текилы или еще после саке?

— Совсем в конце. Уже после бильярда.

— А какую оперу? «Хованщину» или «Евгения Онегина»?

— Чего другое спроси. Я в операх не понимаю.

— Слова-то какие были? Если «позор, тоска, о жалкий жребий мой», то это «Евгений Онегин». А если «народ смущать, чтоб много больших бояр побил», то это «Хованщина».

— Ни то, ни другое, — подал голос Короедов. — Я хорошо помню. Слова были: «Отдай мне Эмму, отдай мою голубку».

— Так это «Хованщина».

— А что, большая разница?

— Разница большая. «Евгения Онегина» я пою, когда бываю в лирическом настроении. А «Хованщину» — когда бываю в эпическом. Значит, вчера я в эпическом настроении был.

— Мда, — вздохнул Короедов. — Хорошо тебе там в твоих полях. Ори, не хочу. Меня тут давно бы депортировали.

— И развалили бы весь бизнес, — подхватил Берлогин. — Короедыч, как здорово, что ты оперу не поешь! Пивка еще найди — поставлю тебе памятник.

— Пивко будет там, — веско сказал Короедов. — Пивко, музыка, женщины... Все вам будет.

— Да женщины-то не те, — Берлогин меланхолично поскреб ногтями макушку. — Таких женщин и в Хабаровске навалом. Мне бы гейшу...

— Гейшу... Ты хоть знаешь, что это вообще такое, «гейша»?

— А чего тут знать... Гейша она и есть гейша... Ну, баба, что ли...

— Так и запишем, — сардонически усмехнулся Короедов. — «Гейша» — значит «баба».

— Нет, понятно, что не просто баба. Ну, скажем так, «специальная японская баба».

— Конечно, — кивнул Короедов. — «Гейша» — это специальная японская баба. А «самурай» — специальный японский мужик. Я правильно трактую?

— Правильно, неправильно... Кто тут живет — я или ты?

Короедов не отвечал. Мы стояли на светофоре в ожидании зеленого сигнала, пока стайка девушек гангуро пересекала наш путь, направляясь на пляж. Берлогин напряг мощную шею и наблюдал за ними.

— Ну вот, — сказал он, когда мы снова поехали. — Врут, что они кривоногие. Есть и нормальные. В желтой майке шла ничего...

Короедов вздохнул глубоко-глубоко.

— Ничего, — задумчиво повторил он. — Конечно, не Лайма Вайкуле — но будем снисходительны...

Жизнь Петра Короедова не была пассионарным горением или авантюрным фейерверком. Гениальный художник, благородный жулик или роковой любовник из него не вышли. Престижная стезя япониста, избранная в юности, выкинула странный финт — востребованным оказалось лишь умение обслужить нехитрые торговые переговоры. Теперь Петр Короедов был важным звеном в скупке и переброске через Японское море подержанных тачек. Человек попроще гордился бы таким статусом — как-никак, приплывавшие коммивояжеры не могли и шагу без него ступить, относились с пиететом и честно отстегивали по десять тысяч иен с каждой сделки. Фуругатские автодилеры со своей стороны тоже оказывали знаки уважения и помогали в юридических и бытовых вопросах. Но душа просила вовсе не того. Душа просила прекрасного. Тонко чувствующему человеку было отчаянно тяжело вариться в мире покрышек и запчастей, пить водку с бритоголовыми клиентами, осваивать распальцовку и откликаться на «Короедыча». Спасала лишь мечта о далеком идеале, мысль о высшем и безгрешном существе, трепетное преклонение перед чудом, перед сверкающим эталоном красоты и мудрости. Перед Лаймой Вайкуле.

Когда развалился Советский Союз, Короедов более всего горевал об утрате морального права называть Лайму Вайкуле своей соотечественницей. Потом оказалось, впрочем, что латвийская примадонна продолжает петь по-русски и вообще проводит больше времени в Москве, нежели в Риге. Это Короедова очень приободрило. Он ревниво следил за успехами своей богини, и счастливейшим его днем был день, когда в фуругатском магазине он приобрел компакт-диск Лаймы Вайкуле, записанный и выпущенный в Соединенных Штатах. Тогда ему стало с особой пронзительностью ясно, что оба они — граждане мира. Они оба стирают границы, сближают народы и разносят по планете свет русской культуры. Только каждый из них на свой лад. Два факела, два подвижника, два космополита. Лайма Вайкуле и Петр Короедов. Мечты, мечты, мечты...

Берлогинская лапа потрясла меня за колено.

— Просыпайся, — услышал я. — Приехали.

Мы стояли на обширной, наполовину заполненной автостоянке. Прямо перед нами в полнеба раскинулись зеленые сети гольфового поля. По левую руку от сетей притулился Храм Василия Блаженного — точнее, его уполовиненная копия. От храма тянулся разрисованный под хохлому забор с проходом посередине и красочной вывеской на двух языках:

«РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ГОРОДА ФУРУГАТА»

— Вперед, — скомандовал Короедов, застегнул пиджак и пошагал к окошку с надписью «Касса». Берлогин двинулся следом, я за ним.

— Ирассяимасэ-э-э!.. — раздалось из окошка.

— О, черт! — Короедов раздосадованно уперся в забор ладонью. — Ритка должна была сидеть, обещала провести... А так платить придется.

— Скажи, что по делу, — посоветовал Берлогин.

— Наивный... Будем час куковать, пока все утрясется и согласуется. Ты думаешь, это человек сидит? Это робот! У нее не мозги, а этот... алгоритм! Тебе охота час сидеть на жаре?.. Ладно, я вас привез, я и платить буду. — Короедов выставил вперед обе ладони, отметая возможные протесты, вытащил кошелек, наклонился к окошку. — Будьте добры три билета.

— С мамонтом или без мамонта?

— Без мамонта.

Контролер на входе оторвал от наших билетов корешки. Мы ступили на длинную, посыпанную гравием и огороженную бамбуковым частоколом дорожку.

— Пиво-то скоро? — спросил Берлогин, нетерпеливо вглядываясь вперед, откуда доносились развеселые звуки «Камаринской».

— Вон табличка, — показал я. — До ресторана «Печка» сто метров. До музея этнографии тоже сто. И до театра «Николай» сто. И до магазина «Сибирь» тоже. А до мамонта — двести.

— Пиво, наверно, через сто.

— Наверно.

По прохождении ста метров «Камаринская» гремела уже в полную силу. Глазам открылась центральная площадь, по периметру которой располагалось все обещанное. В центре площади громоздился круглый помост, плотно окруженный публикой. На помосте лихо отплясывали четыре девки в кокошниках и красных сапогах.

— А Ритка-то вон она, — едко заметил Короедов, тыча пальцем в сторону помоста. — Щеки намазала, не узнаешь...

Берлогин беспокойно оглядывался по сторонам.

— Кажется, нам туда, — сказал я и повел его по направлению к вывеске, сулящей различные напитки. Мы зашли внутрь и остановились перед прилавком.

— Самое дешевое какое? — спросил Берлогин.

— «Серифу», — прочитал я. — Двести иен банка. Только я не слыхал про такое пиво. Черт знает, как это расшифровать. Может, «шериф»?

— Значит, американское. Берем.

Нам выставили две голубые банки с нефтяными вышками на боку. Под вышками было написано: «Шельф. Сахалинское пиво».

— Блин, — вырвалось у меня. — А я думал, «Шериф»...

— Ничего, — сказал Берлогин. — Зато дешево...

Он откупорил банку, сделал глоток и выпучил глаза.

— И они это называют пивом?!

— Это мы называем пивом, — поправил я. — Они только повторяют.

— А зачем продавать?

— Как зачем? Деревня русская. Клиент пьет и думает: это такое специальное русское пиво. И радуется. А себестоимость копеечная. Конторе прибыль.

Берлогин молча вертел в руках банку. Свою я обменял с доплатой на «Саппоро». Мы вышли обратно на площадь. Доплясавшие девки с организованным визгом сбежали со сцены; их сменил усатый и чубатый дядька в красной рубахе и серой папахе. Невидимый конферансье объявил через динамик:

— Сейчас выступит Миша. Он станцует настоящий косакку-дансу!

Публика восторженно зааплодировала. Заиграл матросский танец «Яблочко». Миша растопырил руки в стороны и картинно, с цыганским прищуром обошел помост. Публика хлопала в такт. Миша ударил себя в грудь, в живот, в колено, в щиколотку, в пятку. Народ одобрительно загудел. Миша сказал: «Эх!» Народ сказал: «Хай!». Миша присел. Привстал. Присел. Привстал. Народ экстатически завыл. Миша привстал. Присел. Привстал. Присел. Народ вошел в неистовство. Миша присел. Привстал. Присел. Привстал. У народа начался катарсис. Миша поклонился. Народ бился в судорогах. Миша с достоинством сошел со сцены.

— Ой, Петенька! — послышалось сбоку. — Не сердись, пожалуйста. У нас перестановка, Зойку на мамонта бросили, меня в ансамбль, на кассу японку посадили. Я тебе не успела позвонить...

— Ничего, — сказал Короедов. — Ты сделай главное, что обещала. Устрой мне встречу с вашим начальником. С самым главным. Скажи: по делу.

— Я сейчас... Устрою... Стой здесь... Не уходи...

На сцену взошла румяная тетенька в сарафане и принялась заунывно дудеть в какую-то жалейку. Берлогин, кривясь и морщась, пил сахалинское пиво.

— Здорово, земляки!

Рядом с нами стоял давешний плясун Миша.

— Здорово, казак, — сказал ему Берлогин. — Пива хочешь?

Миша покосился на банку.

— Не-е-е, — засмеялся он, как от хорошей шутки. — Такого не хочу.

— А ты какой казак, донской или кубанский?

— Я из вологодской филармонии.

— Что, вообще не казак?

— Вяколайнен моя фамилия. Какой я казак...

— А плясал грамотно!

— Да ну... Я вообще не танцор, я баянист... Но тут сказали, баян не нужен, а нужен косакку-дансу.

— Что это такое, кстати? — поинтересовался я. — Сколько раз слышал и до сих пор не пойму. Чисто японское слово.

— Леший знает, откуда они его взяли. Я им тогда по-всякому плясал, а они нос воротят: мол, не то. А как пошел вприсядку, сразу обрадовались: дескать, вот он, настоящий косакку-дансу. Так и пляши, говорят. Вот и пляшу теперь. А вы туристы?

— Нет, — сказал Берлогин, — не туристы. Эти ребята живут здесь. А я по бизнесу приехал.

— По автомобильному?

— Ага. Недавно занялся. Раньше медью промышлял. А еще раньше я был футболист.

— Иди ты! — поразился Вяколайнен.

— Форвард таранного типа. В хабаровском СКА.

— Надо же... А как вчера «Локомотив» с «Шинником» сыграл, не знаешь?

— Откуда... Днем бизнес, вечером пьянка, не до футбола. — Берлогин смял пустую банку и кинул в мусорный бак.

— Петя!!! — Рита стояла на той стороне площади и махала рукой.

— Быстро-то как, — удивился Короедов и взял меня за локоть. — Пойдем, поможешь. У тебя лицо интеллигентное. Мы минут на двадцать, — добавил он для Берлогина. — Встречаемся здесь.

Вслед за Ритой мы нырнули в служебный вход и попали в кабинет начальника, плотно сложенного мужчины средних лет, в белой рубашке без пиджака. Он встал из-за стола и вопросительно на нас смотрел.

— Здравствуйте, — сказал Короедов и поклонился. Я поклонился тоже. Начальник ответил наклоном головы и указал на два стула. Мы сели. Рита помахала нам пальчиками и исчезла в дверях.

— У нас к вам дело, — начал Короедов после церемонии обмена визитками. — Мы хотим познакомить вас с необыкновенно интересной певицей.

— С русской певицей? — поспешил уточнить начальник.

— Ну... — замялся Короедов. — В общем, да... В том смысле, что она поет на русском языке. Хотя, в принципе, может и на других. На английском может. Сможет и на японском, если очень понадобится. Мы ее научим.

— Понятно, — кивнул начальник.

— Дело вот в чем. Нас, русских людей, несколько смущает известный перекос культурного обмена в сторону чего-то такого, знаете, старинного... Ну вот, скажем, песни, которые пелись сто лет назад... Это интересно, конечно, — но это лишь одна сторона. А ведь публику должно волновать, что поется сегодня, не правда ли?

— М-м-м-м, — неопределенно помычал начальник.

— Эта певица очень популярна. Лучше ее вообще никого нет. Мы вам кое-что принесли, чтобы вы имели представление. Вот компакт-диск. Записан в Америке. Будет время, послушайте. Вот еще кассета...

— Как зовут певицу?

— Лайма Вайкуле. «Ра-и-ма Ва-и-ку-рэ».

Начальник наклонил голову набок и созерцал им же нацарапанные крючки.

— На русское имя непохоже.

— О, да вы хорошо разбираетесь! — поспешил польстить ему Короедов. — Дело в том, что она не совсем русская. Вообще говоря, она из Латвии. Но все русские люди считают ее своей.

Я важно покивал для пущей достоверности.

— Хорошо, — сказал начальник. — А чего вы, собственно, хотите?

— Мы хотим, чтобы она посетила Японию. И дала здесь несколько концертов.

Начальник кивнул. Короедов приободрился.

— Вы знаете, она уже один раз была в Японии. В девяностом году. Причем спела только одну песню на телевизионном шоу. Потом сказала в интервью, что горячо полюбила эту страну. Я уверен, она хочет приехать еще раз.

— М-м-м-м...

— Вы нас не поймите превратно. Заниматься всем этим будем мы. Выходить на ее менеджера, подключать спонсоров, заказывать рекламу, бронировать билеты, гостиницы, залы... От вас требуется только одно — официальное приглашение.

— Э-э-э-э-э...

— Ведь мы частные лица, к тому же иностранцы. Чтобы дали бизнес-визу, необходимо приглашение от организации. Вы столько лет уже приглашаете русских артистов — кого еще просить, как не вас?

— М-м-м-м...

— Конечно, один концерт можно будет дать здесь. У вас замечательный зал, много посетителей, налаженная реклама. Люди придут, вы не пожалеете, будет прибыль... А сейчас — только одну бумажечку. Дальше мы сами все завертим.

Короедов умолк и ждал ответа. Начальник положил перед собой чистый лист.

— Итак, — сказал он, — вы хотите, чтобы мы оформили приглашение для (он нагнулся над своими крючками) Райма Вайкурэ-сан. Так?

— Совершенно верно. Нас интересует ваше принципиальное согласие или несогласие. Если вы согласны, то мы выходим на контакт с ее менеджером и договариваемся о сроках.

Начальник кивнул и что-то начирикал на своем листе.

— Хорошо, — сказал он. — Я свяжусь с вышестоящими инстанциями.

— А сами вы не можете это решить? — разочаровано спросил Короедов.

— Приглашение — слишком серьезный вопрос. Много всего нужно взвесить и обсудить. Позвоните через неделю.

— Договорились, — сказал Короедов со вздохом.

На улице он повеселел и радостно хлопнул меня по спине.

— Ничего-ничего! Все на мази... Я считаю, мы подали себя очень грамотно. Тут ведь самое главное — подать себя. Чтобы было понятно: за дело берутся серьезные люди, а не какие-нибудь козлы. Разговаривать надо хорошим японским языком, вежливо, не употребляя слов-паразитов... Ты на него пивным духом не дышал?

— Не, я в сторону...

— Правильно. А что не сразу, так это мы подождем. Ихний порядок тоже надо уважать, я так мыслю.

Берлогин сидел на лавочке с Вяколайненом и рассказывал ему о своей жизни.

— А за медь, — говорил он, — я даже сидел один раз в таиландской тюрьме. Народу там повидал всякого... Вот скажи, Миша, ты когда-нибудь видел живого трансвестита?

— Не... — простодушно мотал головой Вяколайнен. — Трансвестита не видел.

— А я с ним водку пил!

— Иди ты! — удивлялся Вяколайнен.

— Ей-богу, пил! — и Берлогин гордо выпячивал грудь. — Водку с живым трансвеститом!

На сцене опять плясали девки в кокошниках. Готовясь к очередному выходу, Вяколайнен стал прилаживать на голову папаху.

— Деловая программа закончена, — объявил Короедов. — Более-менее успешно. Можно поворачивать оглобли.

— Погоди ты! — возмутился Берлогин. — Только пришли, деньги заплатили... Давай уж посмотрим чего-нибудь. Чего тут еще есть?

— Музей есть, — бросил Вяколайнен, уходя к сцене. — Очень смешной музей.

— Пошли тогда в музей, — сказал Берлогин. — Там прохладней хотя бы...

Этнографический музей встретил нас стендом с русскими народными инструментами. На нем присутствовали: лопата, коса, борона, мотыга, топор, колун, грабли и вилы. Все грязное и ржавое. Осмотрев экспозицию, мы перешли к следующему стенду — с различными лаптями, валенками, картузами, поддевками и плисовыми шароварами. Далее демонстрировались балалайки, домры, гусли, гармошки и почему-то шотландская волынка.

— Ну, — спросил Короедов, — интересно, да?

Берлогин посмотрел на него как-то странно. По его небритой щеке стекла струйка пота. Прохлады в музее не было. Скорее, наоборот.

Следующий экспонат занимал отдельный стол и представлял собой большой трехведерный самовар. Он был пузат и внушителен. В его начищенных зеркальных боках отражались топоры и балалайки. Но заинтересовал меня не сам самовар, а стоявшая под ним табличка. Белая табличка с черной надписью. Сверху слоговая азбука: са-мова-ру. Ниже, в скобках — три иероглифа.

Ах, что это были за иероглифы! Праздник для мнемониста.

Располагавшийся справа походил на структурную схему какого-то хитрого агрегата — подобных схем я много зарисовал в студенческие годы на лекциях по компьютерной архитектуре. Четыре квадратика, «черных ящика» — два сверху, два снизу — и между ними шина обмена данными, горизонтальная линия с ответвлениями. Древний китайский каллиграф гениально предугадал появление кибернетики. «Устройство», «прибор» — так трактовался сей знак.

«Сапоги мои того, пропускают аш-два-о» — провозглашал иероглиф в центре. Мнемоническое двустишие для юных химиков тоже было предвосхищено в древнем Китае. Тощий и длинный сапог со вздернутым носком погружался в толщу H_2O — ее уровень обозначался слева от сапога горизонтальной линией, переходящей в изящный диагональный штрих; справа же из сапога выливалась через дырку переполнявшая его H_2O, унося с собою роковой гвоздь, причину беды. Те, кто еще не забыл уроки химии, помнят, что такое H_2O. «Вода» — таков был смысл этого знака.

И, наконец, левый — самый первый, если читать по порядку. Две льдинки плюс комбинация «приказ». Впрочем, приказ здесь был ни при чем, он только подсказывал чтение; а весь смысл заключался в маленьких штрихах-льдинках сбоку от приказа. «Холод» — вот каков был скрытый в них намек, и вот каково было значение всего иероглифа.

РЭЙ — СУЙ — КИ, — сложились в моей голове чтения трех знаков, образовав слово, которое на русский язык перевелось так:

«Устройство для охлаждения воды».

Я беззвучно затрясся и показал на табличку Короедову. Он хмыкнул. Из угла за нами наблюдала молоденькая служительница музея в строгой блузке и очках. Предвкушая особый кайф, я подозвал ее классическим японским жестом, помахав вверх-вниз сложенной в лодочку ладонью.

Она подошла.

— Простите пожалуйста, — обратился я к ней. — Вы не могли бы пояснить, что это за устройство и как оно работает?

Вопрос не застал ее врасплох.

— Это называется самовару, — сказала она, со знанием дела снимая крышку. — Видите, здесь полость. Сюда заливается вода. А вот сюда, в эту трубу, кладется лед. Вода остужается, и потом ее можно пить. Наливается через краник.

Короедов вполголоса переводил ее слова Берлогину. Тот стоял донельзя серьезный, и пот растекался у него по бровям.

— Хорошо, — сказал я. — Но откуда в таком случае берется лед?

— Лед берется из холодильника, — невозмутимо ответила служительница. Наверное, вопрос показался ей идиотским.

— Так-так... Из холодильника берется лед и кладется в трубу. А не проще было бы сразу поставить воду в холодильник?

Этот вопрос заставил ее задуматься. Но лишь на считанные секунды.

— Русские не делают так потому, — сказала она, — что в России очень дорогая электроэнергия.

Я почувствовал, что пора завязывать. Предвестие судорог уже щекотало мою диафрагму. Еще один такой ответ — и я потеряю самоконтроль, безобразно заржу, повалюсь на трехведерный экспонат и опрокину его на пол.

— Понятно, — сказал я с легким поклоном. — Спасибо вам за объяснения.

— Не стоит благодарности.

Она тоже поклонилась и отошла обратно в свой угол. Берлогин проводил ее недоуменным взглядом.

— А чего мы ее отпустили? — спросил он. — Надо было поправить!

Короедов сделал задумчивую мину и покачался на носках.

— Видишь ли, Сережа, — сказал он, — барышню, конечно, просветить можно. Но практических последствий это не поимеет. Над ней начальство, которому мы не указ. Более того, я думаю, они прекрасно знают, как функционирует самовар. Но из каких-то высших соображений поддерживают ложную версию.

— Ложную?! Из высших?!

— Ты не горячись. Ты бизнесмен, должен понимать. Тут делают деньги на стереотипах. Хорошо все, что служит имиджу. Россия — это страна снега и льда. Это не страна угля и щепы. Поэтому в самоваре должен быть лед, а не уголь. И совершенно неважно, что это не стыкуется с элементарной логикой. У бизнеса логика своя. Понимаешь?

Берлогин вытянул руку и отодвинул Короедова в сторону.

— Девушка! Иди сюда, — он поманил служительницу толстым пальцем. Она втянула голову в плечи и подбежала семенящим шагом. — Слушай, что я скажу. — Он стащил крышку с самовара и со звоном брякнул ей об стол. — Сюда, в эту дыру — мужики, переводите, не стойте — кладется никакой не лед, ты поняла? Уголь туда кладется, щепа, шишки всякие. И поджигается. — Он выхватил из кармана зажигалку и высек огненный язык. Девушка отшатнулась с перекошенным лицом. — И оно горит, оно греется, понимаешь? Мужики, чего вы не переводите?

— Сережа, Сережа... — пытался утихомирить его Короедов.

— Оно не для холода, оно чтобы кипятить! Поняла или нет?

Девушка отступила на шаг, на два... Потом пробормотала:

— Подождите минуточку...

И опрометью бросилась вон из помещения.

— Так, — сказал Короедов, — побежала за начальством. Лучше бы нам уйти.

— Никуда не пойду, — упорствовал Берлогин. — Все скажу начальству!

— Сережа, ты хочешь сохранить наш бизнес?

— Есть вещи выше бизнеса!

— Ч-ч-черт, — занервничал Короедов, — не хватало еще...

Он схватил меня за локоть, чтобы убежать хотя бы вдвоем, — но было поздно. В помещение стремительно вошел давешний начальник в белой рубашке. Из-за спины у него опасливо выглядывала музейная служительница.

— Вы не волнуйтесь, — сказал Короедов, улыбаясь как можно безмятежнее. — Имело место маленькое недоразумение, мы его разрешили...

Берлогин сгреб самовар в охапку и подошел к начальнику.

— Это, — сказал он, — чтобы кипятить!

Начальник робко взялся за самоварную ручку и несильно потянул на себя.

— Это нельзя, — промямлил он. — Это экспонат...

— Туда уголь, — Берлогин тыкал пальцем внуть самовара, — а сверху трубу. Чтобы тяга была. Или сапогом. — Он схватил валенок со стенда, приладил его к самоварному жерлу и изобразил раздувание сапогом. На физиономии начальника нарисовалось смятение и ужас. Он пришибленно стоял и нелепо взмахивал руками, как пингвин крыльями. Короедов схватился за голову и вышел вон.

— Сергей! — сказал я. — Товарищ все понял. Он сделает нужные выводы. Давай поставим посуду на место.

Вызволив экспонат из берлогинской охапки, я водрузил его обратно на стол. Берлогин тяжело дышал, и пот лил с него обильными струями.

— Скажи ему, что я был форвард таранного типа!

— Этот человек раньше играл в футбол, — перевел я.

— М-м-м-м... — сдавленно промычал начальник.

Я отобрал у Берлогина валенок, приткнул его на стенд между лаптей и вытолкал экс-футболиста на улицу, поминутно оборачиваясь, лепя мелкие поклоны и бормоча извинительные формулы. Самовар блеснул нам на прощание своим медным боком и потух.

На эстраде стояла румяная тетенька и дула в жалейку. Сгорбившийся Короедов сидел на скамеечке и глядел в асфальт. Мы подошли к нему. Одновременно подошел Вяколайнен, неся папаху под мышкой.

— Ну, как музей? — улыбнулся он. — Правда, смешной?

— Ага, — кивнул я. — Забавный.

— Сходите еще к мамонту.

— Во-во, — поднял голову Короедов. — Сходи, Сережа, навести мамонта. Там ведь наверняка ошибка! Типа «русский народный зверь, холоднокровный, питается снегом, запекся в горячих песках». Давай, объясни им чисто конкретно про русских зверей!

— Чего за мамонт-то? — спросил Берлогин. — Может, правда сходить?

— Это из Питера мамонт, — объяснил я. — Зоологический музей сдает в аренду по бедности. Я его еще в детстве видел, сейчас не хочется. Да и билеты у нас без мамонта...

— Все вам будет теперь, — процедил Короедов. — И билеты с мамонтом, и Лайма Вайкуле, и пиво, и гейши, и небо в алмазах. Заслужили!

— Ладно тебе, Короедыч! — хлопнул его по спине Берлогин. — Не убежит никуда твоя Лайма Вайкуле. И вообще, почему обязательно Лайма Вайкуле? Кто такая Лайма Вайкуле? Привези лучше Роксану Бабаян!

Короедов зажмурил глаза, поднес к ушам ладони и судорожно ими потряс. Затем вскочил со скамейки и стремглав зашагал прочь.

— Чего это он? — удивился Вяколайнен.

— За фетиш обиделся, — сказал Берлогин. — Чую, накрылся мой бизнес. Надо новый открывать.

— Открой японскую деревню, — посоветовал я.

— В Хабаровске?

— Ну, хотя бы... В Японии был, все знаешь. И про самураев, и про гейш...

— Гейш можно в Бурятии набрать.

— Точно. А самураев посади под сакуру, пусть они там себе харакири делают. Знаешь, как народ повалит?

— Не напасешься самураев-то... Но идея хорошая. Денежная идея.

...Восходящее солнце давно перекатилось за береговую линию и превратилось в заходящее. Теперь оно поджаривало Китай с Монголией и растапливало лед в русских самоварах. По эту сторону моря жара спадала, предметы отбрасывали тень, и пингвины в океанариумах больше не роптали. На ступеньке псевдорусского полухрама сидел мечтатель, космополит и подвижник по имени Петр Короедов. Сощурив глаза, он наблюдал за ходом дневного светила и негромко шептал:

— Еще не вечер... Еще не вечер...

Он пел.

июнь 2001г.

Формула политкорректности

Комплексный обед в университетской столовой стоил восемьсот иен. Звонок на перемену еще не прозвенел, и коротенькая очередь состояла исключительно из профессоров и прогульщиков. Я подхватил поднос, уставленный мисочками и плошечками, донес его до облюбованного столика, опустился на стул и расщепил палочки. Отхлебнул зеленого чаю, съел фиолетовый кружок маринованой редьки, поклевал сопливых желтеньких грибочков. После чего приступил к самому любимому — снял крышку с черной лакированной миски, поднес ее к ноздрям и вдохнул пар, поднимавшийся от супа мисо.

Я законным образом рассчитывал ощутить дразнящий аромат перебродившей сои, флюиды аппетитного месива из растертой пасты, мелко нашинкованного лука и морских водорослей. Но ощутил иное. В мои ноздри забралось нечто странное — так могли бы пахнуть несъедобные плоды какого-нибудь африканского дерева или феромоны исполинского тропического муравья. Осторожно вдохнув еще раз, я различил в этом запахе какую-то более знакомую струю, уводившую мысли в парфюмерном направлении. Недоумевая, я поставил миску обратно на поднос — но запах никуда не ушел. Напротив, он усиливался и, казалось, хотел затопить собой все вокруг. Еще через несколько секунд он стал вовсе нестерпим. В то же мгновение столик накрыла тень, и какой-то утробный баритон из-за моей головы произнес по-английски с невозможным акцентом:

— Не возражаете?

— Не возражаю, — ответил я на автомате, не успев еще увидеть говорившего. А тот уже заходил спереди, опускал свой поднос и усаживался напротив меня.

Это был упитанный мужчина лет пятидесяти, с широким носом, короткими вьющимися волосами и буровато-серой кожей. На нем сидел щеголеватый светло-коричневый пиджак, по животу сползал узорчатый галстук, а из рукавов выглядывали белые манжеты с нефритовыми запонками. Муравьиные феромоны так и разлетались от него во все стороны.

Верхняя губа приподнялась в улыбке, обнажив ряд белых зубов.

— Мы с вами незнакомы. Позвольте представиться.

Он вынул из пиджака бумажник, из бумажника визитную карточку — и протянул мне. Я прочитал:

Quabaraman Nababa
full professor

Достал свою, протянул ему. Он взял, склонил голову, пошевелил губами и снова показал зубы.

— Рад с вами познакомиться.

Карточка исчезла в бумажнике, бумажник в пиджаке. Он расщепил палочки и оглядел поднос.

— Я очень люблю японскую еду. А вы?

— Я тоже.

— Она прекрасна! — он восторженно пошевелил бровями. — Прекрасна! Давайте будем есть!

В надежде, что мой нос уже принюхался к феромонам, я еще раз попытался насладиться ароматом супа. Тщетно. Феромоны отбили мне не только обоняние, но и вкусовые рецепторы тоже. Проглотив суп в четыре глотка и догребя палочками оставшиеся водоросли, я безо всякой радости принялся за рис.

— На каком факультете вы работаете? — осведомился мой новый знакомый, проглотив кусок курицы.

— На компьютерном, — ответил я, поливая курицу соусом.

— О-о-о! — произнес он с уважением. — Компьютеры — наше будущее!

Я не нашел, что на это возразить.

— Что до меня, — продолжал он, — то я работаю в центре социологических исследований.

— О-о-о! — счел нужным сказать и я.

— Предмет моих научных интересов, — воодушевился он, — это помощь развитых стран слаборазвитым странам. Вот, например, Япония — это развитая страна. Здесь развитая промышленность, наука, образование и финансы.

С этим тоже трудно было спорить.

— А есть слаборазвитые страны. Вот, например, Республика Бабалогу — это слаборазвитая страна. Там нет развитой промышленности, нет развитой науки, и вообще ничего такого развитого нет.

— Как вы сказали? — переспросил я. — Какая республика?

— Бабалогу, — повторил он. — Это в Меланезии. Один большой остров и много маленьких. Раньше мы были протекторатом Новой Гвинеи, а в прошлом году получили независимость. Сначала я работал чрезвычайным и полномочным послом Бабалогу в Японии, а теперь работаю здесь. Уже почти месяц.

Я кивнул и засунул в рот осьминожье щупальце.

— У нас в Бабалогу тяжелая ситуация, — развивал он свою мысль. — Нет денег, нет еды, нет лекарств и компьютеров. Жители голодают, дети не ходят в школу, много болезней и преступников.

На его лице изобразилось страдание.

— А поскольку у развитых стран много денег и еды, то они могут помочь слаборазвитым странам. Мы живем на островах. Мы островитяне. И японцы тоже живут на островах. Они тоже островитяне. Одни островитяне должны помогать другим островитянам.

Сказав это, он посмотрел на меня победоносным взглядом — так доказавший сложнейшую теорему математик мог бы смотреть на коллег по семинару.

Я кивнул, поднял ко рту очередную плошку, сгреб на язык ее содержимое и проглотил. Побеги бамбука побежали вниз по пищеводу.

— Из какой вы страны? — поинтересовался профессор Набаба.

— Из России, — ответил я.

— О-о-о! — возрадовался он. — Значит, вы тоже островитянин?

— Нет, — опешил я. — Совсем не островитянин. Боюсь, вы что-то перепутали.

— Возможно, — согласился он. — Возможно, я перепутал с Англией. Или с Аргентиной. Но это неважно. Если вы хотите помочь слаборазвитой стране, то вовсе не обязательно быть островитянином.

Побеги бамбука подпрыгнули у меня в желудке.

— Я основал Общество Друзей Бабалогу, — сказал профессор, доставая из кожаной папки какие-то бумаги. — Вот устав, вот список членов, вот отчет о мероприятиях. Первый взнос составляет три тысячи иен, потом — тысяча в месяц. Взносы идут на закупку лекарств и издание школьных учебников для детей Бабалогу. Если хотите, можете вступить прямо сейчас.

— Сейчас не могу, — сказал я. — У меня нет с собой трех тысяч.

— Ничего страшного, — успокоил он меня. — Я вас занесу в список, а деньги принесете потом. Должен сказать, что люди вступают очень активно. Вот, можете взглянуть, это с последнего собрания.

Передо мной легла фотография. Друзья и подруги Бабалогу выстроились на ней полукругом, по обе стороны от улыбающегося профессора. Подруг было гораздо больше, нежели друзей.

— Моя знакомая, — показал я мизинцем на стоявшую с краю.

Эти слова произвели на профессора странное действие. Секунд на пять он застыл с разинутым ртом — а потом подался вперед, цепко схватил меня за предплечья и искательно заглянул в глаза.

— Ваша знакомая... — пробормотал он. — Знакомая...

Эскадрилья феромонов атаковала обе моих ноздри. Я отшатнулся, стараясь не выронить из палочек последний кусок курицы. Профессор Набаба вцепился в меня, как филин в мышь.

— Вы ее хорошо знаете?... Близко?...

— Это мама-сан, — сказал я. — У нее свой бар. Я там иногда бываю.

Из-за соседних столиков на нас с любопытством смотрели обедающие студенты. Я резко крутанул локтями и освободился от захвата. Курицей при этом пришлось пожертвовать. Профессор сидел с открытым ртом, и глаза у него бегали туда-сюда.

— Когда вы ее последний раз видели? — спросил он.

— Не помню, — сказал я, поднимаясь с места. — Приятного аппетита.

— Минуточку! Я только хотел...

— Простите, спешу.

Посуду полагалось отнести на кухню. Я бросил палочки в мешок для горючего мусора, а поднос поставил на ленту конвейера. Миски и плошки поехали в мойку, укоризненно белея недоеденным рисом, которого так не хватало несчастным жителям острова Бабалогу.

* * *

Раскаленный от жары университетский двор показался мне альпийской лужайкой. Вдоволь нагулявшись по нему и надышавшись свежим воздухом, я вернулся в свой кабинет. Не успел сесть за компьютер, как раздался телефонный звонок.

— Привет, — сказала Кирико.

— Ха! — сказал я. — Будешь долго жить. Есть такая русская примета. Только что тебя вспоминали.

— Поздновато...

— Ты о чем?

— Вчера надо было вспоминать. Вчера исполнился год, как мы перестали встречаться.

— Помнишь такие подробности?

— Я все помню. Это ты ничего не помнишь.

— Если хочешь отпраздновать, могу прийти.

— Приходи. Сегодня понедельник, народу не будет.

— В семь?

— Нормально, жду.

Кирико открывала свой «Складной ножик» ежедневно в семь вечера, а закрывала от часу до трех ночи — в зависимости от количества и качества клиентуры. Клиентура делилась на завсегдатаев и случайных гостей — примерно поровну. Завсегдатаи пили из персональных бутылок, купленных со скидкой в длительное пользование. Целых три шкафа было отведено под репозитарий — на их полках теснились сосуды с привязанными бирками. «Ямада-сан», «Такада-сан», «Симода-сан», «Цутида-сан»... Внутри плескались разнообразные количества недопитого виски. Эти шкафы представлялись мне своеобразной кунсткамерой, хранилищем заспиртованных пьяных бесед, еще не прозвучавших и терпеливо ждущих своего часа.

На случайных гостей была рассчитана вывеска снаружи. Под уличным фонарем призывно поблескивал эмалью швейцарский нож, выбрасывавший десяток лезвий в сторону клиноподобных значков слоговой азбуки:

Дзякку-найфу
сунакку

Ниже название заведения дублировалось махонькими буковками по-английски:

Jack knife
snack bar

Это было, с одной стороны, данью нестареющей моде на английские слова — а с другой стороны, приветственным паролем для гайдзинов. Прогрессивная мама-сан благоволила иностранцам, они были ее частыми и желанными гостями. Кирико любила гайдзинов. Иногда даже страстно. Некоторых из них.

Я прислонил велосипед к стене под вывеской и толкнул дверь, зазвенев колокольчиком. Раздвинул занавеску из бамбуковых висюлек, вошел. Кирико взглянула на меня из-за стойки, не поворачивая головы, — я лишь увидел, как перекатился зрачок в узком глазу. Обычно она встречала гостей совсем иначе — семенила навстречу, мелко кланялась, пискливо лепетала приветственные фразы. Это был стандарт, узаконенный веками ритуал, отработанный до автоматизма навык. Часть профессии, рутина. А то, что иногда видел я, было вожделенной альтернативой — смиренная служанка вдруг превращалась в надменную тигрицу, даму роковой масти, недоступную красавицу из какого-нибудь Гонконга или Сингапура, никак не из Японии. Эта роль шла ей куда больше, но игралась куда реже — например, когда в пустующий бар заходил старый, все понимающий друг. Впрочем, игралась роль совсем недолго, от силы минуту — так маска, ради шутки приставленная к лицу, за отсутствием завязочек быстро возвращается на колени.

Ее зрачок все смотрел на меня из угла подведенного тушью глаза, губы были иронически поджаты, круглые серьги цыганского размера неподвижно застыли. Я поспешил подыграть — развернул голову в профиль, задрал повыше подбородок и томно пригладил волосы растопыренными пальцами. Кирико прыснула, вслед за ней расхохотался я, маски попадали на пол и стали больше не нужны.

— Давно не виделись, — сказала Кирико.

— Давно, — согласился я, усаживаясь за стойку.

— Четыре месяца.

— Наверно.

— Не наверно, а точно. Что у тебя нового?

— Все то же. Ничего такого из ряда вон.

— А у меня из ряда вон. Со мной произошла сэкухара.

— Чего произошло?

— Сэкухара. Сэккусюару харассмэнто.

— Кто же этот злодей?

— Ты его должен знать. Он тоже из университета.

Пазл сложился.

— Ага, — сказал я. — Все понятно. Злодея зовут профессор Набаба. Угадал?

— Точно. Набаба-сэнсэй. Ты его хорошо знаешь?

— Сегодня в обед познакомился. Он мне фотографию показывал, там ты была.

Кирико вздохнула.

— Противно вспоминать...

— Ну и не вспоминай!

— Нет. Я все тебе расскажу.

— Давай лучше выпьем. Зачем я на велосипеде ехал по такой жаре? Годовщина у нас, или как? Смешай мне что-нибудь ностальгическое.

Кирико повернулась на сто восемьдесят, кокетливо склонила голову набок и оглядела уставленные разномастными емкостями полки.

— Как насчет бурураки?

— С удовольствием.

Кирико грациозно изогнулась, свела лопатки, сжала кулачки. Так она делала всякий раз, когда ей предстояло смешать свой коктейль — оригинальный, неповторимый, выстраданный.

* * *

Сочинение алкогольных коктейлей было для хозяйки «Складного ножика» всепоглощающей страстью. Банальные «отвертки» и «кровавые мери» ее давно не вдохновляли, их приготовление увлекало не более, чем навешивание бирочек на именные бутылки. Артистическая натура просила творческого полета, креативного поиска, раздачи путевок в жизнь доселе небывалым букетам и наименованиям. Поэтому, едва закончив барменские курсы и вступив во владение «Ножиком», Кирико предалась самозабвенному изобретательству.

Стезя изобретательницы оказалась скользкой и тернистой. Все бы ничего, кабы изобретаемые коктейли не приходилось по многу раз дегустировать — при досадном свойстве алкоголя затуманивать голову дегустатора до полной отключки. Сколько раз бывало, что пытливая мама-сан, не смыкавшая глаз в опустевшем баре, к четырем утра наконец открывала единственно верную формулу искомого напитка, чтобы тут же свалиться на пол, не успев ее записать! Случалось, впрочем, и так, что новорожденный рецепт успевал быть записан на салфетке, салфетка утром отыскивалась, каракули успешно расшифровывались — но отвратительная бурда, которая получалась по этому рецепту, не имела решительно ничего общего с тем божественным эликсиром, который накануне казался венцом творения. Промучившись два года, Кирико поняла, что без ассистента не обойтись.

Найти такового среди пьющей публики тоже оказалось непросто. Большинство посетителей были начисто лишены воображения — их устраивал дешевый разбавленный виски, которым они тупо накачивались изо дня в день, чтобы выйти в тираж, так и не познав прекрасного. Обладатели более развитого вкуса встречались, но такие сами хорошо знали, чего хотели. Они обожали командовать. «Маргарита», но без соли!.. «Космополитэн», но без клюквы!.. «Секс на пляже», но без клубники!.. Ни тех, ни других не прельщали значительные скидки, сулимые за участие в дегустации. Рискованной дармовщинке предпочиталось знакомое разорение. Романтики попадались крайне редко. Но попадались.

С одним таким романтиком Кирико провозилась битый год. Это был сорокалетний художник, зарабатывавший преподаванием каллиграфии, а душу отводивший в настенных росписях. Какие пить напитки, ему было все равно, и он с готовностью пошел в подопытные дегустаторы. Чтобы поддержать сей смелый шаг, Кирико разрешила ему расписывать стены и потолок заведения. В свободные от каллиграфии дни он приходил спозаранку с чемоданом пульверизаторов, застилал мебель газетами и принимался творить. К вечеру взорам клиентов представало что-нибудь новенькое: то монохромный дзэнский пейзаж, то Мэрилин Монро в чем мать родила, то вариации на тему «Герники», а то и Боб Марли с косяком в зубах. Клиенты уважительно качали головами и втихаря совали носы в стаканы с бурбоном, занюхивая вонь от краски, когда та не успевала выветриться. Сам же творец к тому моменту восседал за стойкой напротив хозяйки — гордый, счастливый и готовый к дегустации.

Увы, полноценного ассистента из него не вышло. Питейная выносливость каллиграфа не дотягивала до нужной отметки. Его суждения о достоинствах смеси уже к десятой итерации становились односложны и невразумительны, на пятнадцатой он вообще переставал понимать, чего от него хотят, а после двадцатой падал бородой на стойку и засыпал. Кирико перетаскивала его на диван, пробовала идти дальше своими силами — но уже заранее знала, что в одиночку не справиться.

Один завсегдатай, по профессии медик, популярно объяснил суть проблемы. Суть заключалась в антропологии. Восемьдесят процентов этнических японцев носят в себе редкую форму алкогольдегидрогеназы — она окисляет этиловый спирт быстрее обычного, и опьянение происходит форсированными темпами. А коли так, продолжал медик, то ассистента лучше иметь белого либо черного. Иностранный ассистент — это правильные ферменты. Это выносливость и надежность. Это то, что нужно.

Кирико начала поиски иностранного ассистента. Она записалась на курсы английского языка, бегала по тусовкам гайдзинов, со всеми знакомилась и всех приглашала посидеть в «Ножике». Гайдзины стали приходить. Им нравилась атмосфера заведения с мягкими диванами и приветливой хозяйкой. Но странные эти гайдзины толком не пользовались своими замечательными ферментами. Воспитанные под пропагандистский шум, они хотели вести здоровый образ жизни. Больше стакана в них было не влить. Удачей был один канадец, выросший в далеких северных провинциях, куда еще не добралась зараза трезвости. С ним Кирико изобрела два коктейля: «Глетчер» и «Моржовое копыто». Потом канадец перебрался в Саппоро, и Кирико снова осталась без помощника. Большие надежды возлагались на двух британцев, которые приходили каждую пятницу и квасили, как истинные джентльмены. Но увы — эти двое не признавали ничего, кроме скотча.

И вот тогда-то, на пятом году функционирования «Ножика», Кирико встретила идеального ассистента. Уроженца страны, где сладкое слово «халява» затмевает всё — нравственные ориентиры, гигиенические нормы, нехватку времени и здравый смысл. А кислое слово «трезвость» рисует в народной памяти лысину Михаила Горбачева, километровые очереди и дурацкие «ячейки». Новый ассистент был драгоценной находкой — он сочетал в себе правильные ферменты, готовность на подвиги и творческий подход к делу.

Началась эпоха героических свершений. Мы были Пьер и Мария Кюри со стаканами в руках вместо пробирок. Вместо ядер Урана мы расщепляли ядра Бахуса. Вместо лучевой болезни нас подстерегали цирроз печени и белая горячка. Но наши цели не становились от этого менее благородны. Еще неизвестно, что на самом деле нужнее человечеству — атомная бомба или похмельный синдром.

Я приходил в будничные вечера, ближе к полуночи. Посетители, если имелись, уже сидели хорошо датые и в постоянном обществе мамы-сан не нуждались. Мама же сан, вся истомившаяся в ожидании сладких творческих мук, сажала меня за стойку, наскоро ознакомляла с новой перспективной идеей и принималась заливать в меня пробные комбинации. Я гонял их во рту, вертел на языке, собирал донесения рецепторных клеток, приводил их к общему знаменателю и выносил тот или иной беспристрастный вердикт. Далее шло короткое обсуждение, рождался следующий итерационный шаг — и процесс замыкался в спираль. Где-то на верхних ее витках, когда искомая формула вырисовывалась более-менее явственно, а изможденный дегустатор уже лыка не вязал, Кирико приступала к снятию личных проб для окончательной шлифовки и полировки рецепта. Эта топ-дегустация тоже требовала некоторого времени, за которое изобретательница с ее слабыми ферментами успевала догнать и даже перегнать ассистента. Наконец, часам к трем-четырем, листочек с драгоценным рецептом бывал прикноплен над стойкой, последний бокал триумфально допит до дна, пустующий бар заперт — и два счастливых первооткрывателя брели по улице, бережно поддерживая друг друга и хватаясь за фонари. Кривые злачные переулки вели нас мимо рюмочных и сусичных, мимо караоке-баров и лав-отелей, мимо буддийских храмов и синтоистских святилищ, мимо темных дворов и зашторенных витрин. Надышавшись живительного ночного воздуха, мы добирались до скромной квартирки в двенадцать татами — и на место Бахуса заступала Венера.

Конечно, наши эксперименты увенчивались успехом далеко не всегда. Гораздо чаще они заводили нас в тупик. Но отрицательный результат — это тоже результат. Это пополнение списка проигрышных идей. Теперь люди будут знать, что не стоит лить апельсиновый ликер в текилу, если туда уже налит ликер кофейный. Что сухой мартини плохо сочетается с настойками на гремучих змеях. Что разбивать сырые яйца в шампанское — только зря переводить продукт. И что замена томатного сока на тертый дайкон еще не делает из «кровавой Мэри» «слезливую Йоко».

Поначалу я не особо вникал в структуру того, что приходилось дегустировать. Работали в основном рецепторные клетки — мозговые отдыхали. Творческие же амбиции довольствовались сочинением названий. Кирико целиком отдала мне этот фронт и безропотно принимала самые дикие варианты. Названия чаще всего получались культурологически бивалентные. «Амурские цунами». «Тамбовский осьминог». «Иван Нобунага». «Сумо да тюрьмо». Так преломлялась двуязыкая природа нашего альянса. Однако с наполнением коктейлей названия никак не соотносились: «Осьминог», к примеру, строился на коньячной основе, а «Сумо» — на винной. Эти нестыковки нравились мне все меньше и меньше, покуда я не поставил четкой задачи: создать напиток, культурная бивалентность которого не просто декларировалась бы, но прямо вытекала бы из структуры. Задача решалась целый месяц. То, что в итоге родилось, навсегда вошло в анналы «Складного ножика». Гвоздь меню, гордость хозяйки, предмет восхищения гостей и зависти конкурентов.

Коктейль «Бурлаки на Фудзи».

* * *

Название появилось прежде рецепта. С самого начала такое название сильно обязывало. Оно нацеливало на создание напитка, который было бы не стыдно предложить Илье Ефимовичу Репину для пития на брудершафт с Хокусаем. Или Николаю Алексеевичу Некрасову — с Кобаяси Иссой. Напиток с таким названием призван был совместить несовместимое, привести к гармонии имманентные свойства обоих полюсов и отразить глубинные онтологические связи.

Изначально было ясно, что основу должна составить смесь водки и сакэ. Но какой водки? Какого сакэ? В какой пропорции? На проработку только этих вопросов ушло более недели. Над стойкой висела репродукция бессмертной репинской картины в окружении гравюр укиёэ — я созерцал их и дегустировал, снова дегустировал и снова созерцал. Оптимальной комбинацией была признана одна часть перцовки на две части «Цветущей весны». Порождаемый такой смесью букет звучал сообразно замыслу: благоухание цветов у подножия священной горы, прорезаемое ядреным запахом бурлацких онучей. На эту основу можно было накладывать дальнейшие мазки.

Кирико заикнулась о «содовой» и была жестоко высмеяна. Понижающим градус наполнителем мог быть квас и только квас. Разбавленный для пущей бивалентности зеленым чаем. Проблема была лишь в том, где раздобыть посреди Японии квас. Когда я объяснил Кирико, что это такое, она загорелась идеей изготовить квас самостоятельно. В компьютерных сетях нашлось два рецепта. Первый предусматривал замачивание лепестков роз и черешков ревеня в березовом соку. Второй был проще: «Взять воду хлеб дрожжи сахар все размешать и ждать после чего квас готов». Я отверг оба и принялся обзванивать русских коллег. Выяснилось удивительное: у жены профессора Мохова функционировал целый подпольный цех по производству кваса. Профессор возил его на работу огромными бидонами и поил всю лабораторию. Мне с готовностью отлили три литра. После прикидочной дегустации был организована серия выездных семинаров — жена профессора Мохова передавала Кирико тайны мастерства и щедро делилась дрожжевым сырьем. На семинары ушло еще две недели. По истечении этого срока у Кирико уже получался продукт, весьма похожий на тот, что продавался в стране моего детства из желтых бочек по три копейки за кружку. На какое-то время дегустации подвисли — предаваясь ностальгии по юным дням, я выдувал весь продукт подчистую. Но Кирико не теряла времени зря. Добавляя порошковый чай непосредственно в сусло, она пыталась получить чайный квас — в чем весьма преуспела. Тонкая горчинка, которую давал этот бурый с прозеленью напиток, сообщала ему изысканность и благородство. Мама-сан была так горда своими успехами, что внесла чайный квас в меню, где он потеснил кока-колу и спрайт. В Москве был срочно заказан килограмм квасных дрожжей, который прибыл с первой же оказией и поселился в холодильнике под стойкой.

Возобновившиеся дегустации показали: для разведения алкогольной основы двух частей кваса мало, трех много, а нацедить две с половиной сложно. Кирико поддалась на мои уговоры — решено было удвоить и даже учетверить конечный объем, подавая коктейль в пивных кружках, сторонником чего я был с самого начала. Такое решение подчеркивало эпический размах замысла, напоминало о масштабе. И гора высокая, и барка тяжелая, и пить долго.

Здесь можно было бы остановиться — но тяготевшая к визуальным эффектам Кирико пустилась в украшательство и эстетизм. Она то посыпала края сахарной пудрой, изображая седые снега на вершине. То пускала плавать на поверхность дынную корку, модель барки. То цепляла к кружке высохшую виноградную гроздь, одиннадцать изюмин на которой символизировали иссохшие и потемневшие бурлацкие тела. Я терпел эти извращения три дня, а потом предложил привязывать к ручке бечеву — чтобы клиент выволакивал кружку волоком. Кирико устыдилась и свернула свои нелепые эксперименты. Приведение к абсурду, вот как это называют математики.

Месячный дегустационный марафон завершился. Новорожденный коктейль занял свое место в меню, и выглядело это примерно так:

Дайкири	700
Буради-мэри	700
Сукурюдорайба	700
Сэккусу-он-дза-бичи	800
Буруракинa-фудзи	1000

Те завсегдатаи, что обладали вкусом и считались продвинутыми, единодушно согласились: напиток создан выдающийся. Все они — и медик, и каллиграф, и даже настоятель храма Кукудзи — выпили не по одной кружке «бурлаков» и подтвердили мистическую способность этого коктейля индуцировать в клиенте полное самоотождествление с прототипами. Коктейль соответствовал названию, как никакой другой.

Если вы пьете, к примеру, «Маргариту» — хоть с солью, хоть без соли, — то не ждите, что вас охватят терзания доктора Фауста. И наоборот: если эти терзания вас уже охватили, то «Маргарита» не поможет вам от них избавиться, они продолжат вас терзать. Вы не прогоните их, даже если будете пить «Маргариту» большими глотками под музыку Гуно. Равно как и «Космополитэн» не сделает из вас гражданина мира, и «Секс на пляже» не заставит вытряхивать из плавок песок. Все эти претенциозные названия — не более чем фантики.

Иное дело «Бурлаки на Фудзи».

Один глоток этого коктейля — и на груди у вас кожаная лямка, четыре вершка в ширину и три аршина в длину. Еще глоток — и перед вами гора, уходящая в заоблачные выси. Вы понимаете, что не сделать третьего глотка может только отступник и капитулянт. Поэтому вы делаете третий глоток — лямка врезается в грудь, бечева натягивается тугою струной, и тяжелая плоскодонная барка с жутким скрежетом начинает ползти по камням. Теперь обратного пути нет.

Той частью своего «я», которая еще не отождествилась с бурлаком, вы успеваете пожалеть их, отверженных и угнетенных. Вам становится стыдно своего мягкого дивана и круглого живота. Вы раскаиваетесь, что столько лет бездумно любовались слащавыми гравюрами. Вы делаете четвертый глоток... пятый... шестой... седьмой... восьмой... О, Фудзи, колыбель моя!..

Под лаптями — красноватая застывшая лава. На голове тряпица, пояс утерян, портки в дырах. Миллиметр вверх — капля пота вниз. Собака, не тронь бурлака, бурлак сам собака. Владимир Иванович Даль.

Рядом товарищи. Те самые, с картины. Два коренника, до упора наклонившись, задевают склон натруженными руками. Стиснул зубами трубку худой белорус; старый моряк Илько, зло сощурясь, сплевывает на лаву; иконописец Константин качает головой и крестится. Ларька, молодой парень, все не угомонится с вечными вопросами. Зачем мы здесь? Зачем лезем в гору? Зачем нас дискриминируют? Что значит «гайдзин»?.. Но не слыхать ответов на ларькины вопросы — и снова впрягается он в кожаную лямку, и снова упирается лаптями в лаву, и снова потеет. Надсадно бурлаку, надсадно и лямке. Даль, Владимир Иванович.

Что ждет бурлаков на вершине? Лед и снег, холод и ветер? Черная дыра вулканического жерла? Или, может быть, Чистая Земля, объятия Будды Амиды, просветление и протрезвение?

Одиннадцать глоток затягивают:

— Эх, Амидушка, ухнем!...

Глоток, еще глоток... Все больше тумана. Он окутал весь склон, заползает в лапти, в онучи, в портки, в кисет, в картуз, застит глаза, залепляет уши, забирается в мозги, отключает сознание... Но что же, что же, что же там наверху?!?!

Наму дубина буцу.

Доползем — увидим.

* * *

Передо мной стояла полная кружка. В ней плавали квасные пузырьки.

— С годовщиной! — Кирико подняла свою.

Мы чокнулись. Отпили по глотку. Из колонок лилось что-то бразильское.

— Ты пей, — сказала Кирико, — а я тебе расскажу, как со мной произошла сэкухара.

— Валяй, — кивнул я и отхлебнул еще.

Кирико побарабанила ногтями по стойке, собираясь с мыслями.

— Было собрание, — начала она. — Как это... «Общество друзей острова Бабалогу». Я первый раз пришла.

— Стоп, — сказал я. — Объясни мне сразу, как ты туда попала.

— Меня Кёко привела. Помнишь Кёко-сан?

— Не помню. А ее кто привел? Зачем вообще туда ходить? Там интересно?

— Нет, совсем не интересно. Набаба-сэнсэй рассказывает, какие они бедные, и потом деньги собирает. И больше ничего.

— Ну, и какой смысл туда ходить?

— Не знаю... Надо ведь чем-то заниматься... Общественная нагрузка должна быть... И еще там по-английски уметь надо.

— А если по-английски, то это важно и нужно, да?

— Ты сам все понимаешь... Нет у нас самобытности, вот мы и клюем на всякую чепуху.

Я чуть не поперхнулся.

— Опомнись, Киритян! — я даже стукнул кружкой по стойке. — Что ты такое несешь? На острове Бабалогу есть самобытность, а в Японии нет?

— А где она? Всё из Америки тащим, разве не видишь?

— Кто ж вас заставляет? Вы не тащите...

— Самобытности нет — вот и тащим. Посуди сам. Бейсбол — чья игра? Американская. А демократия?

— А сумо?

— Ну, разве что сумо...
— Дзюдо, икебана, чайная церемония, синтоизм...
— Ты бы еще сказал: «Его величество император».
— А что такого? Император тоже...
— Ой! — скривилась Кирико. — Ой, не могу! Вадитян подался в ультраправые!
— Никуда я не подался...
— Ты подался в сторону от разговора. Я рассказывала про сэкухару, а ты меня перебил. А я еще не сказала главного. Набаба-сэнсэй всех отпустил, кроме меня. И попросил отвезти его в ботанический сад. Он хотел посмотреть, как цветет леспедеца.
— Леспедеца цветет осенью, — сказал я. — Такие вещи надо знать.
— Правда? Значит, он меня обманул. Слушай дальше. Набаба-сэнсэй не водит автомобиль. Знаешь, почему?
— Наверное, у него на острове нет автомобилей. Или дорог нет.
— Все там есть. Он просто не умеет. Он же султан! Или принц, не помню. За него слуги всегда все делали, вот он такой и вырос, ничего не умеет.
— Что дальше-то?
— Я его привезла в ботанический сад. Пошли искать леспедецу. Он меня хочет за руку взять. Я ему говорю: «сэнсэй, плиз!». И не даю.
— Это уже сэкухара?
— Еще нет. Я главного не рассказала. Леспедецы нигде не видно, он меня завел в глухой угол, посадил на скамейку. Отдохнем, говорит. Я сижу, вся дрожу...
— Почему дрожишь?
— Страшно стало! Может, он людоед, я ведь не знаю, как там у них принято. А он увидел, что я дрожу, и намотал на меня шарф.
— Решил тебя погреть. Джентльмен.
— Какое «погреть»? Жара была. А он в шарфе — специально. Все подготовил. И пахнет шарф чем-то таким... Намочил его чем-то.
— Это у него духи такие. От него на работе тоже пахнет.
— Ничего себе духи! Слезоточивый газ, а не духи. Сразу слезы потекли. Он увидел, хвать меня руками — «Кирико-сан! донт край! плиз!»... Что-то лопочет, я уже не слушаю, мне дышать нечем... Кошмар!
— Уже сэкухара?
— Еще нет. Я еще не рассказала самого главного. Он этим вонючим шарфом стал мне слезы вытирать... А потом... Потом он меня...
— Ну?...
— Набаба-сэнсэй меня...
— Да что?!
— ...поцеловал...
Выдавив из себя это слово, Кирико впала в скорбное молчание. Бразильцы в динамиках уважительно притихли, лишь перкуссия тихо выстукивала какой-то сочувственный ритм. Я сделал три хороших глотка.
— Значит, леспедецу так и не нашли?
— Что?! — она подняла голову. — Ты о чем?!

— Киритян, мне все понятно, — сказал я. — Мне только непонятно, почему ты употребляешь слово сэкухара. По-моему, «sexual harassment» — это немножко не то.

— Почему?

— Потому что этот термин подразумевает служебную зависимость. Вот если бы ты была его студентка, или он твой босс...

— Так он и есть босс. Председатель Общества. А я рядовой член.

— Денег-то не платят в этом обществе. Даже наоборот — ты платишь!

— Это неважно. Это даже хуже. Я деньги плачу — а он пристает.

— В этом обществе тебя никто не держит. И никто не тянул. Вот скажи, зачем ты туда пошла? Всякие там Кёко-сан — это понятно, у них занятий других нет. Но ты-то зачем?

— Я тебе скажу, ты смеяться будешь...

— Не буду, обещаю.

— Я хотела проверить его ферменты. Он же из Меланезии, другая раса... Вдруг они там еще выносливее, чем белые? Вдруг они могут ведрами пить? Вот был бы ассистент!

Мне пришлось срочно задуматься о печальном, чтобы исполнить обещание.

— А что? — продолжала Кирико. — Ты меня бросил, никто не помогает, идеи гибнут... Я за любого иностранца готова уцепиться, лишь бы он пить умел.

— Думаешь, этот умеет?

— Не знаю. Теперь уже неинтересно. Мне теперь интересно, как использовать улику.

— Улику?

Кирико присела, загремела дверью сейфа, где хранилась выручка, достала и положила передо мной туго скатанный полиэтиленовый пакет.

— Я тогда убежала прямо в шарфе. Только в машине заметила. И решила не отдавать. Из него еще это не выветрилось. Понюхай.

Я раскатал пакет на стойке и осторожно приподнял одну ручку. Через секунду полчища знакомых феромонов отплясывали босанову у меня под носом.

— Говорю тебе, это такие духи, — сказал я, снова скручивая пакет и разгоняя феромоны ладонью. — Меланезийская парфюмерия.

— Хорошенькие духи! Такими духами тараканов морить. И вообще: тридцать градусов жары, а человек ходит в шарфе — это нормально?

— Наверное, у них на острове так принято. Все принцы ходят в шарфах.

— На острове, может, и ходят. А здесь это улика. Я вот думаю: сразу в суд подать или сначала по месту работы?

— Киритя-а-а-ан! — застонал я. — Какой еще суд? Что ты хочешь отсудить?

— Моральную компенсацию. Если докажу факт сэкухары, то имею право.

— За что компенсацию? За поцелуй?!

— Ну да... Это ведь сэкухара...

— Выходит, ты и меня можешь к суду привлечь?

— Конечно. Могу и тебя. Хотя нет, не могу. Не помню всех деталей.

— Еще б ты помнила... Я тоже ничего не помню...

— А что тут особенного? — Кирико вернула улику в сейф и щелкнула замком. — Моника отсудила кучу денег. Почему мне нельзя?

— Так сильно нужны деньги?

— А то нет! Я на грани банкротства. В этом году кредит выбила, в следующем могут не дать. Кризис, не видишь? Все разоряются.

— А ты отсудишь кучу денег и не разоришься, да?

— Ну, может, не кучу... Пусть его хотя бы с работы выгонят.

— Зачем тебе это?

— Как это «зачем»? Я плачу налоги. Для чего? Для того, чтобы в университете велась научная работа. Я не для того их плачу, чтобы меня обматывали шарфами и целоваться лезли. Он мне, гад, еще слезы вытирал!

— Это я уже слышал. Не глухой.

— Как ты сказал?

— НЕ ГЛУХОЙ.

— Ты что! Так говорить нельзя. Это дискриминационное слово, «глухой». Надо говорить: «с несвободными ушами».

— А «слепой» — «с несвободными глазами»?

— Точно.

— А «хромой» — «с несвободными ногами»?

— Совершенно верно.

Я отставил кружку и схватился обеими руками за голову.

— Вадитян, что с тобой? — встревожилась Кирико.

— Ничего, — сказал я. — Мне просто жаль японский язык. Он был такой красивый... Что вы с ним делаете, поганцы...

— Так нужно! Если ты глухой, а тебе говорят, что ты глухой, тебе приятно?

— Если человек глухой, то он и не услышит.

— Или она.

— Что?

— Он или она не услышит. Женщины тоже бывают глухие.

— Господи! — сказал я. — Где ты этого понабралась, Киритян? Ты была умная девка, говорила на нормальном языке. Откуда у тебя эти заскоки?

— Это не заскоки! Я, чтоб ты знал, феминистка!

— Да какая ты феминистка. Ты просто бака.

— Что-о-о?!?!

— То самое. «С несвободной головой».

— Сам ты бака! Ты шовинист, вот ты кто. Ты знаешь вообще, что такое быть женщиной в Японии? Что такое каждую ночь торчать за этой стойкой и ублажать пьяных идиотов?

— Постой, — сказал я. — Ты ведь говорила, что твоя работа тебе нравится. Калейдоскоп людских судеб, и все такое...

— Ага, калейдоскоп... Пузатые дядьки зовут тебя мамой, делятся семейными проблемами, а ты их слушай и утешай. У нормальных людей психоаналитик, у японцев — мама-сан.

— А нормальные люди все живут в Америке, да?

— Я не говорю, что там все нормальные. Но там есть люди, к которым стоит прислушаться. Ты знаешь, кто такая Маргарет Накамура?

— Не знаю.

— Это знаменитая феминистка. Она сейчас ездит по Японии с лекциями. К нам недавно приезжала, я ходила слушать.

— А-а-а... Теперь понятно.

— Что тебе понятно?

— Понятно, что лучше ездить с лекциями, чем ублажать пьяных идиотов. Под лекции, наверное, и кредит легче выбить.

— Да уж конечно...

— Ну вот. Отчего бы тебе не стать главной феминисткой северо-западной Японии?

— А что? Думаешь, не смогла бы?

— Смогла бы. Только сначала нужно прославиться. Сначала нужно совершить феминистический подвиг. Разоблачить зарвавшегося сексиста.

— Ты к чему клонишь?

— К чему, к чему... К цветам леспедецы. По этому шарфу можно высоко забраться. Гляди только, не сорвись.

Я осушил кружку и встал с табурета.

— Благодарю. Спокойной ночи.

— Вадитян! Постой! — Кирико выбежала из-за стойки, догнала меня в дверях, схватила за руку. — Погоди! Тебе что, нравится профессор Набаба?

— Профессор Набаба, — сказал я, — это кусок протоплазмы. Биологическая масса, которая хочет жрать. Мое к ней отношение никак на космические процессы не повлияет. Протоплазма была, есть и будет. Без расы, пола и национальности.

— Значит, не нравится?

— Мне не нравится другое. Мне не нравится, когда на массовых психозах делают деньги. А еще не нравится, что вы готовы отдаться любой химере, на которой написано «Made in USA». Глотаете все, что ни подсунут. «Феминизм», «политическая корректность», «христианские ценности», «миллениум баг»...

— Что плохого в христианских ценностях?

— Плохого ничего. Но ты смотри. Я тут живу восемь лет — и в дверь ко мне вечно стучатся баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, кто только не стучится. Большей частью японцы, что интересно. Приносят какие-то брошюры, норовят провести со мной беседу, так просто не отвертишься. И хоть бы кто-нибудь пришел обратить меня в буддизм. Пусть бы что ли из «Аум-синрикё» пришли, я бы их прогнал пинками, все какое-то разнообразие — так нет же, одни адвентисты... Вам было заповедовано поклоняться Трем Сокровищам, а вы черт знает чему поклоняетесь.

— Ты говоришь, как твой друг...

— Потапов?

— Да, Потапов-сан. Он говорил, что мы вообще должны всегда в кимоно ходить и зубы красить. И рок-н-ролл слушать не должны.

— Он в полемическом запале так сказал. Он просто Японию очень любит, и ему досадно видеть крайности. На самом деле, все хорошо в меру.

— Правильно. А кто ее определяет, эту меру?

— Ну, я не знаю... Здравый смысл... Вкус...

— Вкус... — повторила Кирико. Мы стояли под фонарем, держась с разных сторон за руль велосипеда. — Тебе легко рассуждать абстрактно. Ты многого не видишь. Ты не представляешь, какие заскорузлые мозги у японских мужиков. Чтобы их встряхнуть и прочистить, все средства хороши.

— Ладно, — вздохнул я. — Прочищай, встряхивай, что хочешь делай. Твоя страна, в конце концов. Удач тебе на этом пути.

Кирико взяла меня за руку.

— Вадитян, — сказала она, — ну почему ты меня бросил?

— Сто раз уже говорил. Я испугался, что сопьюсь.

— Неправда. У тебя появилась другая женщина. Признайся.

— Так нельзя говорить. Это политически некорректно. Привыкай к уважению чужого пурайбаси.

— Да-да, верно. У тебя появилась другая женщина или другой мужчина.

— Тьфу на тебя!

— Я пошутила! Не уезжай так быстро, посиди еще. Хочешь, я смешаю тебе «Семиструнный сямисэн»?

— Kiriko-san, hello! — раздалось сбоку. Я повернул голову и увидел двух иностранных юношей. На них были отутюженные белые рубашки с короткими рукавами и узкие черные галстуки. В руках — велосипедные шлемы. Они стояли под вывеской, и швейцарский нож приветливо зависал над их аккуратно расчесанными проборами.

— Привет, ребята! — сказала Кирико по-английски. — Давно не виделись.

— Это что, мормоны? — спросил я.

— О, йес, йес! — обрадовался один из них. — Мормоны! Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней! Позвольте представиться! Меня зовут Джон Браун, а вот его зовут...

— Fuck off, — сказал я им по-русски, сел на велосипед и уехал.

* * *

Университетский двор заносило желтыми и красными листьями. Желтых было больше; один из них залетел ко мне за пазуху, когда под порывом холодного ветра я застегивал куртку. Он распластался у меня на животе и грелся всю дорогу от библиотеки до второго корпуса. Дойдя до входа, я расстегнул молнию — лист выпал, обиженно покрутился в воздухе и спланировал в лужу.

Во второй корпус я заходил редко — попить кваску у профессора Мохова или задать компьютерный вопрос системному администратору. В эту пятницу мне как раз понадобилась консультация сисадмина, и я шел к нему в дальнее крыло. Мягкий линолеум коридора был сплошь застелен полиэтиленом и фанерой; грузчики в синих комбинезонах, перегородив весь проход, волокли куда-то тележки с новым оборудованием. Я встроился в зазор между двумя тележками и медленно побрел в этом зазоре по коридору. Стальные колеса раскатисто громыхали, фанера сухо потрескивала, а шедший за мною грузчик перекрывал грохот и треск героической народной песней:

Храбрый Ёсицунэ ненароком... Хай! Хай!
Уронил свой лук в пучину моря... Хай! Хай!
А кругом бушует непогода... Хай! Хай!
И морской отлив стрелы быстрее... Хай! Хай!

Коридор шел через центр лингвистических исследований. По обеим сторонам размещались кабинеты американцев, преподающих студентам английский язык. «Профессор Кевин Вудс», «профессор Генри Ламберс», «доцент Карл Тимберс», — значилось на табличках сбоку от дверей. Двери были все до одной широко открыты, и под каждую подложен клинышек, удерживающий дверь в открытом положении. Продвигаясь по коридору, я мог наблюдать профессоров в их ученом уединении, которому не мешал ни треск фанеры, ни грохот тележек, ни художественные завывания грузчика:

Лук относит волнами от брега... Хай! Хай!
Прямо к неприятельскому челну... Хай! Хай!
Подгребают вороги поближе... Хай! Хай!
Норовят достать его граблями... Хай! Хай!

Иной профессор на миг отрывался от ученых занятий и бросал взгляд на проходящих мимо. Такой взгляд бывал исполнен прямоты и непосредственности, он подкупал чистотой душевных помыслов. Вот видите, — как бы говорил профессор, — я честный человек, мне нечего скрывать от моих товарищей и вышестоящих лиц. Я вовсе не затащил к себе беззащитную студентку, не покрываю ее поцелуями и не наматываю на нее вонючих шарфов. Всякому понятно, что я занимаюсь научной работой. Я даже развернул к вам дисплей. Видите: вот тут у меня написано «он». И сразу: «или она». Все четко, не подкопаешься. Перед вами политически грамотный и морально устойчивый сэнсэй.

Он коня пришпоривает смело... Хай! Хай!
И в крутые волны загоняет... Хай! Хай!
На коне плывет, презрев опасность... Хай! Хай!
И к врагам подходит очень близко... Хай! Хай!

Американские фамилии вдруг кончились. Пошли разномастные таблички центра социологических исследований. «Профессор Итиро Фуруги». «Ассистент Чжэнь Гу Му». Тоже распахнутые двери, тоже клинышки, тоже честные взгляды. «Доцент Людвиг Альтенбаум». «Ассистент Йоко Нэмото». «Профессор Квабараман Наба...

— ПОСТОЙТЕ!!! — раздался крик, и в то же мгновение меня накрыло облаком меланезийской парфюмерии. Из глубины кабинета метнулась тень, профессор Набаба выпрыгнул в коридор между тележками, схватил меня за руку. — Зайдите, зайдите ко мне! Я вас умоляю! Мне необходимо с вами поговорить!

Грузчик перестал петь. Он ждал, пока я уступлю ему дорогу. Пришлось зайти.

— Вы так нужны мне, так нужны! — с этими словами профессор закрыл дверь и щелкнул замком. Из коридора послышалось продолжение песни, но уже неразборчиво. Я глубоко вдохнул через рот.

— Вы, наверное, знаете, что происходит, — взволнованно заговорил профессор. — Эта женщина сошла с ума! Она клевещет на меня, она распускает дикие слухи! Она губит мою карьеру, мою семью, мои исследования, мое доброе имя! Это просто маньячка! И они ее слушают! В университете создали комиссию для проверки фактов, она работает уже три месяца — и там не верят ни одному моему слову! Они верят только ей! Меня уволят, и я умру от голода!

— Ну хорошо, — сказал я. — А почему вам нужно обсуждать это со мной?

— Как почему? Вы же с ней знакомы! Вы сами говорили!

— Да, знаком. И что?

— Вы должны помочь мне. Вы просто обязаны мне помочь. Как островитянин островитянину. Вы пойдете со мной на заседание комиссии и скажете, что она сумасшедшая. Они вам поверят.

— У меня нет оснований говорить, что она сумасшедшая.

— Нет оснований? Вы ей верите? Вы слышали, что она говорит?

— Она говорит, что вы повесили ей шарф на шею и поцеловали.

— Это ложь! — взвизгнул профессор и топнул сразу двумя ногами. — Как вы можете этому верить? Я просто рассказал ей о несчастных детях Бабалогу, которым нечего кушать. Она заплакала, задрожала — и я действительно согрел ее своим шарфом. Это я признаю. Но поцелуев никаких не было. А если бы и были, что с того? Это укладывается в рамки меланезийских традиций. У нас на острове дружеские поцелуи в порядке вещей — чужие традиции надо уважать. Слаборазвитые страны тоже вносят свой вклад в мировую культуру.

Я еще раз вдохнул через рот. Профессор еще раз топнул обеими ногами.

— Все, что она говорит, — это ложь, ложь, ложь! Наглая ложь!

— Ну допустим, — сказал я. — А зачем ей эта ложь? Почему она так говорит?

— Это легко объяснить, — сказал профессор. — Она клевещет на меня потому, что я бабаложец. Она ненавидит всех бабаложцев! Я думаю, она связана с ультраправым японским движением, которое хочет нас поработить.

— Вы уверены в этом?

— Еще бы! Вы знаете, у нас на острове есть писатель, его зовут Гулялям Макабака. Он пишет: мерило любой цивилизации — это отношение к бабаложцам. Вы согласны?

— Даже не знаю... Очень сильно сказано...

— Бабаложцы всегда первыми попадают в беду! Нас первыми поработили папуасы. Нас первыми разорил всемирный кокосовый кризис. И сейчас меня первым хотят изгнать из университета. Но за бабаложцами всегда следуют другие! История учит: кто бросил в беде бабаложца, попадет в беду сам!

Он прислушался к звукам из коридора и понизил голос до шепота:

— Вы думаете, это демократическая страна? Ошибаетесь! В душе они все шовинисты. Иностранцы для них — люди второго сорта. Даже в транспорте они никогда не сядут с вами рядом. Вы замечали? Я замечал. Знаете, что я решил? Я решил дать им сражение. Им всем надо прочистить мозги.

— Хорошо, — сказал я и отомкнул дверной замок. — Прочищайте. Удачи вам.

— Я могу рассчитывать на вашу помощь?

— Боюсь, что нет.

— О-о-о-о-о-о-о! — застонал профессор, схватился за седины и забарабанил ногами по полу. — Моя-жизнь-моя-семья-моя-клевета-я-умру-всё-ложь-ложь-ложь! Маньяки-папуасы-поцелуи-шовинисты-зачем-зачем-зачем! О-о-о-о-о-о-о!...

Он тряс головой, подпрыгивал, сгибался пополам и хлопал себя по ляжкам. Это напоминало шаманское вхождение в транс.

— Ы-ы-ы-ы-ы-ы! Макабака - леспедеца - карьера - клевета! Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы! Я

- погиб - пропал - посол - феромон - султан! Я закупал лекарства! Я закупал лекарства! Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы...

Он бухнулся на колени, заломил руки и затрясся всем телом. Я молча вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь.

* * *

Университетский двор заносило снегом. Встав у окна, я наблюдал, как желтые дорожки кампуса покрываются белой крупой. С каждой минутой они становились все неразличимее.

Раздался стук в дверь. Я оглянулся не сразу, а когда оглянулся, то увидел доктора технических наук Рауля Абрамовича Лишайникова. Заячья шапка на нем была посыпана снегом, который быстро таял, капая на воротник.

— Вадичек, — сказал Рауль Абрамович, роясь во внутреннем кармане. — Я, как всегда, с классическим вопросом. Вот, нашел у себя в ящике, вскрыл, а там одни иероглифы. Может, это не по адресу пришло?

Он протянул конверт. Взглянув на адрес, я вытащил складную открытку с фотографией гигантского моста и надписью золотыми буквами: «San Francisco».

— Что? Не мне?

— Не вам, — сказал я. — Это мне. Почтальон квартиру перепутал.

— Бывает... Видишь, как хорошо, что я сразу к тебе пришел. Извини, что вскрыл, не разобравшись. Хотя, сам понимаешь, в содержание я не вникал.

— Ничего, ничего...

Рауль Абрамович взялся за дверную ручку и тут же ее отпустил.

— Послушай, Вадичек! — сказал он. — Как тебе нравится весь этот скандал? Ты смотрел вчера телевизор?

— Смотрел...

— Я правильно сделал, что не дал им интервью. Присосались, как клопы. «Вы член комиссии, расскажите, как принималось решение». У ректора потом истерика была: «Откуда журналисты, почему утечка информации?» Сразу столько журналистов я еще не видел. Какая-то девка с микрофоном прибежала. «Как вы относитесь к феминизму?» Она бы еще спросила, как я отношусь к озоновой дыре.

Рауль Абрамович снял шапку, посмотрел на нее, шагнул к мусорному ведру и стряхнул туда остатки снега.

— Прославились на всю Японию. Кто нас раньше знал? А теперь скажут: ну как же, это тот самый университет, из которого папуаса выгнали за разврат. Слыхали-слыхали... Вадичек, скажи честно, тебе его не жалко?

— Думаю, он не пропадет.

— А я вот хожу и мучаюсь. Он ведь был не совсем животное, он даже знал фамилию «Бетховен». С ним можно было беседовать на отвлеченные темы. А мы его взяли и выгнали непонятно за что. Но ты видишь, ситуация-то сложная — как ни поверни, все плохо. Или ты против феминизма, или ты притеснитель папуасов. Выбирай, что больше нравится. Вот мы и выбрали. Папуасов все-таки поменьше...

— А что Ученый Совет?

— Да ничего... Пять воздержавшихся, двое «против», остальные «за». Теперь Федька бегает, кричит... «Заговор! Против иностранцев! Всех прогонят!» К тебе прибегал?

— Прибегал.

— Ну вот. И подумай: что эта тетка выиграла? Как ее... Сулико?

— Кирико.

— Да. Что она с этого поимела? Я, кстати, с ней встречался, разговаривал. С виду нормальная женщина, по-английски говорит. Познакомить тебя с ней?

— Да ладно...

— Теперь она грозится подать на него в суд. И папуас тоже грозится подать в суд на университет. Все будут со всеми судиться. Скажи, Вадичек, разве такое было возможно в эпоху Иогана Штрауса?

Он еще раз посмотрел на свою шапку, вытер ее рукавом пальто и продолжал:

— Раньше говорили «лобзание», теперь говорят «половое домогательство». Раньше говорили «рыцарь», теперь говорят «шовинист». Раньше говорили «мудак», теперь говорят «с невысоким ай-кю». Куда мы катимся, Вадичек? Что будет с человечеством?

Он водрузил шапку обратно на голову, расстегнул пальто, достал из кармана пиджака свернутую в рулон газету.

— Или вот, Федька привез из Москвы. Я тебе прочту одни заголовки. Послушай, какую прессу теперь печатают в нашем отечестве.

Развернув газету, он поправил очки на носу, прокашлялся и начал:

— «Бомжи съели фаворита скачек»... «Запорожец протаранил Мерседес»... «Дед закопал внука»... «Виагра для слона»... «Два гавайца красят яйца»... «Полные штаны димедрола»... «Кукушата Березовского»... «Налоговый триппер»... «Мы говорим Путин, подразумеваем Фантомас»... Какой Фантомас, Вадичек? Откуда Фантомас? Что за мерехлюндия?...

Я не слушал его. Что-то настойчиво стучалось в мое сознание, облекалось в слова и требовало письменной фиксации. Я шагнул к столу, выдернул из стопки чистый лист, схватил карандаш и выплеснул на бумагу четыре строчки.

То была Формула Политической Корректности. Ёмкая, как рецепт коктейля, строгая, как диагноз врача, и жесткая, как приговор.

Заставь дурака или дуру
богу или богине молиться,
он или она лоб или лбину
себе расшибет.

— Или уже расшибла, — добавил Рауль Абрамович. — Вы вот меня слушать не хотите, а я давно все понял. Мир спятил с ума. Человечество дошло до ручки. Здесь было последнее нормальное место на планете — теперь загадят и его. Радуйтесь, любуйтесь — вот он, двадцать первый век этот ваш. Твой и федькин.

Он сунул газету в карман, многозначительно цыкнул зубом и вышел.

Я немного постоял, глядя в стену. Потом вспомнил про открытку.

«Вадитян, привет из Калифорнии! У вас, наверное, идет снег. А здесь светит солнце. Меня пригласили на конференцию по содействию азиатскому феминизму. Я выступила с докладом, приняла участие в круглом столе. Маргарет Накамура меня хвалила. Теперь поеду в Сиэтл, там будет рабочая встреча. Подумываю, не оставить ли бизнес. В Америке очень красиво. Потом напишу тебе еще из Сиэтла. Ms. Кирико.»

Я бросил открытку на стол и подошел к окну. Желтые дорожки совсем исчезли под снегом. Вдоль стекла летели пушистые белые хлопья. Я смотрел сквозь них, пока не начала кружиться голова. Потом резко зажмурился — и увидел бурлаков на Фудзи.

Они только что достигли вершины и теперь стоят на ней всей ватагой. Холодный ветер хлещет по их спинам колючим снегом, лапти разъезжаются на льду, туман не уходит. Бурлаки в растерянности — они не смогли разгрузить барку, потому что барка оказалась пустой.

— Ларька! — зовет старый коренник. — Ты грамоту знаешь, ты умный. Скажи: что по этому поводу говорит Владимир Иванович Даль?

Ларька чешет в затылке, закатывает глаза, морщится.

— Я не помню точно, — признается он. — Я могу перепутать. Но мне кажется, Владимир Иванович говорит так: «Любишь саночки возить, люби и кататься».

Все удивляются:

— Как это кататься? Куда кататься? Какие такие саночки?

— Так вот же... Вот они, саночки. А вот горочка гладенька. Сели-покатились.

— Да что же это... Да как же это... Небывальщина какая-то!

— А вот! Новые времена. Все можно.

Сказано — сделано. По бечеве топором, лямки в кратер. Обхватили барку: пятеро за левый бок, пятеро за правый, Ларька сзади. Раскачивают. И — раз, и — два, и — три, пошла, родимая!... Запрыгнули один за другим, Ларька сзади несется, толкает в корму из последних сил, и тоже — прыг вовнутрь! Оба-на! Какой там бобслей, бобслей отдыхает.

Склон как полированный, скорость набирается, туман свистит в ушах, ветер в харю, а чего нам, мы привычные, мы скока натерпелись, мы щас всем покажем, тока малехо разгонимся, давай-давай родимая, а тумана-то уже и нету, выехали из тумана, кругом видать, и нас видать, и вон уже девки запрыгивают, и ладно, места хватит, и негры гляди-кось, и педики вон чего, давай-давай-сигай, веселее будет, кто там еще бедный-чудной-убогий, все к нам давай, все влезут, уж мы прокатимся, уж по кому надо проедемся, а лавушка под нами гладкая, скользкая, разогнались так разогнались, первая космическая, теперь один хрен горка не горка, уже и в океан плюхнулись, а все летим, во как, гуляй бурлак, оттягивайся, нарезай круги по планете, твоя она теперь.

А с острова, с атолла, с кокосовой пальмы на эту красоту, на наглость эту, на оттяг вселенский смотрит туземец, океанец, бабаложец ноне дикой. Не выдержало у парня ретивое, забилось часто, побежал он к берегу, схватил весло, сел в пирогу, погреб через волны, через рифы, через моря, через течения, хотел тоже запрыгнуть, присел, спружинился, нацелился, сиганул — и не получилось, не рассчитал, ошибся, промахнулся; только пронеслась по нему барка, оглушила, выбила мозги, разметала пирогу, кормой притопила напоследок и дальше понеслась, а парень только и успел, что булькнуть разок — и на дно, к скатам, камбалам, палтусам, к акулам на закуску.

Что тут скажешь? Одно слово — «трагедь»...

...Храбрый воин Ёсицунэ Минамото сидел на спине своего боевого коня, покачиваясь на волнах. Конь из последних сил болтал ногами и отфыркивался от соленой воды — а его хозяин недоуменно глядел на бурлящий пенистый след, который тянулся от берега до горизонта. Где-то там, в этом клокочущем водовороте исчезли обломки благородного оружия, спасти которое от вражеских издевательств так хотел сиятельный князь. Все получилось не так, как в песне, все обернулось непонятным и страшным боком. Неприятели из дома Тайра, в панике попрыгавшие за борт, теперь выныривали, отплевывались, хватались за перевернутые челны и тревожно смотрели на восток, где из-за кромки горизонта поднималось бледно-розовое солнце нового тысячелетия.

октябрь 2001г.

Ай рабу ю

Они явились ко мне втроем. Возглавлял делегацию доктор технических наук, профессор Рауль Абрамович Лишайников. За ним маячили две незнакомые мне фигуры — одна побольше, другая поменьше.

— Знакомься, Вадичек, — сказал профессор. — Это Владлен Эдисонович Дупловский. Мой старый друг, которого я не видел шесть лет. Приехал к нам на конференцию. Прямиком из этой, как ее...

— Силикон Вэллей! — многозначительно произнес Владлен Эдисонович.

Моя ладонь утонула в его лапе. Он был одновременно тяжел и поджар. Так, наверное, выглядел бы дедушка Крылов, если бы решил на старости лет заняться физкультурой.

— А вот это — Гена Сучков. Из Зеленограда.

— Очень приятно, — сказал Гена Сучков, энергично потряс мою руку и поправил очки. Он не был ни поджар, ни тяжел. Он был легок и тощ. Он напоминал юного Пушкина, перезанимавшегося в своем лицее.

— А дело у нас такое, — сказал Рауль Абрамович. — Надо позвонить в баню и договориться, что мы к ним придем.

— Зачем договариваться? — не понял я. — Идите сразу, да и всё.

— Объясняю. Это баня не простая. Она по блату. Нас туда пустят бесплатно, надо только сказать, что мы от мистера Судзуки.

— Кто такой?

— Не помню. Вчера был банкет, пришел какой-то мистер Судзуки. Мы с ним выпили, разговорились. Короче, там есть баня, которой заведует его лучший друг. Вот телефон. Только он сказал, что разговаривать надо очень вежливо.

— Ха! — сказал я. — «Очень вежливо»... Да вы понимаете, что это такое — разговаривать по-японски очень вежливо? По-марсиански легче разговаривать, чем по-японски очень вежливо...

— Я понимаю. Он тоже так сказал. Он даже написал на отдельной бумажке все слова, которые надо в телефон говорить. Но ты сам понимаешь: банкет, спиртное, тыры-пыры... В общем, потерял я эту бумажку. Вся надежда теперь на тебя.

— Ну-ну...

— А в чем, собственно, трудность? — поинтересовался Владлен Эдисонович. — Неужели это настолько серьезный бит оф проблем?

— Видите ли, — сказал я, — это трудность субъективного толка. Мне крайне редко приходится разговаривать очень вежливо. В повседневной жизни это не так необходимо, поэтому практики почти нет. А практика нужна, поскольку очень уж все сложно.

Понимаете, в учтивой речи следует изо всех сил принижать себя и всё, относящееся к себе. А собеседника и всё, относящееся к нему, надо изо всех сил возвышать. Требование логичное — но беда в том, что все эти принижения и возвышения осуществляются сугубо грамматическими средствами. Существуют такие специальные глагольные формы — отдельно для себя и для собеседника. Сами по себе они ничего не значат, поэтому в разговоре их легко перепутать. Возвысить себя и принизить собеседника. А это не дай бог. Это оскорбление. Иностранцам вообще не рекомендуют говорить очень вежливо — от греха подальше.

— Вадичек! — сказал Рауль Абрамович. — Это все очень интересно. Но нам не надо про глагольные формы. Нам надо в баню. Я понимаю, это сложнее, чем с девушками любезничать — но ведь и практика будет, не так ли?

— Хорошо, давайте телефон.

— Вот. Я тебе его даже сам наберу. Короче: мы все, сколько нас тут есть, хотим пойти к ним в баню. Сегодня днем, часа в четыре.

Раздался длинный гудок, и вслед за ним мужской голос:

— Моси-моси!

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуйте, — ответил голос.

Я сжал трубку и мобилизовался.

— Вас беспокоит негодный сотрудник университета.

— Хай! — сказала трубка. «Хай», мы вас поняли, продолжайте.

— Меня зовут Лишайников.

— Хай!

— Я негодный друг господина Судзуки.

— Хай!

— Мне кажется, что я хотел бы посетить вашу достойную баню. С моими негодными друзьями.

— Хай! — сказала трубка. — А сколько достойных господ соизволит посетить нашу негодную баню?

— Вашу достойную баню, — сказал я, — соизволит посетить три негодных человека.

— Вадичек! — вмешался Рауль Абрамович. — Ты почему три пальца отогнул? Нас четверо!

— Минуточку! — я зажал трубку ладонью. — А кто четвертый?

— Ты, конечно!

— Почему я? Я не собирался...

— А как без тебя? Вдруг они будут что-нибудь говорить?

— Простите пожалуйста, — сказал я в трубку. — У меня нет слов, чтобы передать, как мне неловко — но тут у нас появился еще один негодный человек. И он тоже хочет в вашу негодную баню.

Через секунду я осознал, какую страшную вещь вымолвил.

— Ой! — спина у меня похолодела. — Я перепутал! Я имел в виду: «достойную баню». Наш негодный человек хочет к вам в достойную баню!..

Трубка молчала.

— Накрылось! — шепнул я профессору. — С грамматикой облажался, теперь ничего не выйдет. Зачем вы меня перебили?

Рауль Абрамович виновато разводил руками.

— Моси-моси! — сказала вдруг трубка.

— Моси-моси! — отозвался я.

— Значит, пожалует четыре достойных гостя?

— Совершенно верно.

— А когда это произойдет?

— Сегодня в четыре часа.

— Понятно. Будем с нетерпением ждать.

— Спасибо. Мы пожалуем.

— Всего доброго.

— До свиданья.

Я уронил трубку и рухнул в кресло.

— Все нормально. Они нас ждут.

Ученые профессора тряслись от смеха.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего, ничего, — сказал Владлен Эдисонович. — Это очень кул, что вы спикаете по-джапанизски. Просто было забавно наблюдать, как вы все время кланяетесь. Ведь по телефону этого не видно...

— Привычка, — хмуро сказал я, вытирая со лба капельки пота.

* * *

За окнами автомобиля проплывали заснеженные поля. Город остался далеко позади.

— Слушай, Ралька, мы правильно драйваем? — спросил Владлен Эдисонович.

— Абсолютно, — кивнул Рауль Абрамович. — Дорогу я помню и без бумажки. Скоро будет заправка, потом мост, а за мостом указатель.

— Ну-ну... А что это вообще, куда мы драйваем, — сауна?

— Сауна там тоже есть. Если мистер Судзуки не наврал. Но это не главное. Главное, что это онсэн и что там есть ротэмбуро. Горячий источник с открытой ванной.

— Я очень эксайтид, — произнес Владлен Эдисонович. — Я еще ни разу не был в этом... как ты сказал. А еще говорит, не знает японского...

— Совершенно не знаю, — подтвердил профессор. — Знаю только три слова: онсэн, ротэмбуро и каки. «Каки» значит «хурма». Приезжай к нам осенью и увидишь: вот на этих деревьях вдоль дороги будут висеть каки.

— Каки, — повторил Владлен Эдисонович. — Это, наверное, найс вью...

Гена Сучков поправил очки на носу.

— Вот заправка! — Профессор притормозил. — А вон мост! И указатель... Вадичек, это на баню указатель?

— Там три указателя, — сказал я, приглядевшись. — И все на бани.

— Что, все на разные? Как называются?

— «Ютопия», «Ю Ноу» и «Ай Рабу Ю».

— Ничего себе... Что ж он молчал, что их тут столько?

— А которая наша?

— Если б я помнил. Придется все три проверять.

Мы свернули на узкий проселок. Развесистые сосны с обеих сторон тянули к нам белые лапы.

— А почему у них бани по-английски называются? — спросил Гена Сучков.

— Это не совсем по-английски, — сказал я. — Это игра слов. «Горячая вода» по-японски — «ю». Если употребить соответствующий иероглиф, то «Ай рабу ю» будет означать «Я люблю горячую воду». Билингва.

— Куда это указатель, Вадичек?

— Как раз туда. В это самое «Ай Рабу Ю». Направо и еще триста метров.

Через триста метров дорога уперлась в берег озера. Здесь была гравийная стоянка, и неподалеку двухэтажное здание бани. Мы вылезли из машины.

— Ба! — воскликнул Владлен Эдисонович. — Глядите! Рашн!

Из озера в метре от берега торчал столб с прибитым к нему жестяным щитом. На щите красовалась надпись:

СИБИРСКИ ЛЕБЕДР
ЗАРАВСТВYNTE В Japan

— Точно! — обрадовался Рауль Абрамович. — Всё, как этот мистер и говорил. Озеро, куда прилетают зимовать наши лебеди. Значит, мы не ошиблись.

— Не вижу лебедей, — сказал Гена Сучков, оглядывая озеро.

— Еще не прилетели. Или уже улетели. Полотенца бы не забыть...

Войдя внутрь, мы разулись, поставили обувь в специальные ячейки и по дощатому полу подошли к стойке, за которой дежурила девушка лет двадцати.

— Здравствуйте, — сказал я. — Мы вам сегодня звонили.

Девушка растерянно изобразила легкий поклон.

— Добро пожаловать... С вас по пятьсот иен...

Я повернулся к Раулю Абрамовичу:

— Говорит, платить надо.

— Как это «платить»? — удивился Рауль Абрамович. — Скажи ей, что мы от мистера Судзуки.

— Мы негодные друзья господина Судзуки, — снова обратился я к девушке. — Мы сегодня утром по телефону договаривались...

— Подождите немножко, — пролепетала девушка и исчезла за занавеской.

Через полминуты к нам вышел импозантный седеющий мужчина.

— Здравствуйте, — сказал я ему. — Мы негодные друзья господина Судзуки. Мы вам сегодня звонили.

Он обвел нас внимательным взглядом.

— Желаете принять ванну?

— Совершенно верно.

— Милости просим. Цена билета пятьсот иен.

— Настаивают на деньгах, — перевел я.

— Это какое-то недоразумение. — сказал Рауль Абрамович и шагнул к стойке. — Судзуки-сан! Дую ноу хим? Виа хис фрэндс!

— Подождите немножко, — сказал мужчина и тоже исчез.

— Сколько просят-то? — спросил Владлен Эдисонович.

— Пятьсот иен. Грубо говоря, пять долларов.

— Так может, заплатим? Не такие уж большие деньги.

— Эх, Владлен! — вздохнул Рауль Абрамович. — Сразу видно, что ты совсем не знаешь Востока. Не ведаешь, что японская культура строится на сохранении лица. Поставь себя на место этого Судзуки. Он обещал нам бесплатную баню, мы ему поверили, поехали — и никакой бесплатной бани не получили. Это значит, он не оправдал надежд, не выполнил обещания, не подсуетился. Одним словом, потерял лицо. От позора он возьмет и повесится — а мы будем виноваты. Тебе этого хочется?

— Нет, — сказал Владлен Эдисонович. — Такого мне не хочется. Может, нам лучше просто уйти?

— Это будет еще хуже. Выйдет, что мы вообще никакой бани не получили, ни платной, ни бесплатной. И тогда он точно повесится. Нет, теперь мы должны стоять до конца.

— А вдруг баня не та? — предположил Гена Сучков. — Мало ли...

— Теоретически не исключено, — согласился профессор. — Сейчас уточним.

Занавеска отодвинулась, и мы увидели лысого дедушку лет девяноста. За ним маячили застенчивая девушка и седеющий мужчина.

— Добрый вечер, — сказал я дедушке. — Мы негодные друзья господина Судзуки. Он должен был с вами договориться насчет нашего прихода.

Дедушка поморгал, пожевал губами, помолчал. Потом спросил:

— Вы друзья Таро Судзуки?

— Как его зовут? — обернулся я к профессору. — Какое у него имя, у вашего Судзуки? Таро или не Таро?

— Не помню, — сказал профессор. — Может, Таро. А может, и не Таро. Впрочем, да — кажется, Таро. Определенно Таро.

— Именно так, — кивнул я дедушке. — Мы негодные друзья господина Таро Судзуки.

— Понятно, — сказал дедушка. — Пожалуйста!

Он широко взмахнул своей худой старческой рукой. Седеющий мужчина и застенчивая девушка слегка поклонились. Мы поклонились тоже и двинулись вдоль по коридору.

— Вот, — довольно сказал Рауль Абрамович. — Спасли жизнь человеку. А вы говорите, не та баня. Держитесь меня в этических вопросах.

Пройдя под синей занавеской с иероглифом «мужчина», мы оказались в предбаннике. Вдоль стены тянулись полки с пустыми корзинами. Профессор Лишайников по-хозяйски обошел помещение и остановился посередине.

— Объясняю, — сказал он. — Здесь все сделано так, чтобы нам было хорошо. Все продумано для этой цели. Вот весы, кому взвеситься. Вот таблица веществ, в которые мы будем окунаться. Сколько ионов натрия, сколько марганца, сколько сероводорода. Вот список болезней, от которых эти вещества излечивают. Простуда, геморрой, неврозы, психозы... Если кому интересно, Вадик переведет. Вот бесплатные зубные щетки. Паста уже внутри, прямо в щетках — даже мазать не надо, прямо суй в рот. Вот бритвы, тоже бесплатные. Бриться ими не советую, порежетесь. Лучше дотерпите до дома. Вот массажное кресло, сто иен сеанс. Вот вентилятор, вот зеркало. Располагайтесь.

— А вещи запереть негде? — Владлен Эдисонович хмуро озирался со снятыми брюками в руках. — У меня тут Американ Экспресс...

— Зачем их запирать? Где здесь воры и бандиты? Мы здесь вообще одни!

Владлен Эдисонович молча свернул брюки и положил в корзинку.

— Держите вот еще, — Рауль Абрамович достал из своего пакета и вручил каждому маленькое полотенце. — Прикроете чресла.

— От кого? — испугался Гена Сучков.

— Друг от друга, — объяснил профессор. — Такое правило. Можно в принципе и не прикрывать, но обязательно иметь с собой. Это рудимент смешанных бань. Исторически японцы парились вперемешку с японками и прикрываться до сих пор не отвыкли. Но мне даже нравится. Прикроешь чресла и чувствуешь себя римлянином. А вот очки я рекомендовал бы снять — ибо первым делом мы пойдем в сауну, и дужки обожгут нам ушки.

— У меня черепаховые, — сказал Гена Сучков. — Не обожгут.

— Тогда вперед! — профессор потянул на себя дверь и переступил порог мыльни. — Продолжаю инструктаж. Перед посещением ротэмбуро, равно как и сауны, необходимо тщательное омовение чресел и остального организма. Это делается сидя — можно из шайки, можно из душа. Вот шампунь и жидкое мыло. Отличить одно от другого можно по действиям сидящего рядом нелысого японца. В данный момент японца вообще никакого нет, поэтому спросим Вадика. Это что написано? Шампунь? Значит, вот это мыло. Жмем на пимпочку, набираем в ладошку, мылим чресла. Предусмотрены мочалки, зеленые и розовые. Температура воды выставляется вот здесь. Через полминуты вода кончается, надо повторить нажатие. Это у них для экономии. Все продумано!

— А сауна-то где? — спросил Владлен Эдисонович, потирая на груди мокрую шерсть и озираясь.

Рауль Абрамович вышел на середину мыльни и медленно совершил поворот на триста шестьдесят градусов.

— Вадичек, — произнес он, — я без очков плохо вижу. Где тут сауна?

— Мне кажется, — сказал я, — что об этом лучше спросить мистера Судзуки. Я тоже не вижу никакой сауны.

— Мда... Кто-то из нас что-то перепутал. Будем считать, что он. Но ничего. Сауна не главное. Главное — ротэмбуро. Чресла у нас помытые, можно окунаться.

Он решительно направился к стеклянной двери, ведущей наружу. За ней начиналась цепочка уложенных на гравий каменных плит, гладких и холодных. Переступая с плиты на плиту, мы добрались до бассейна, вырытого в земле и обложенного по периметру гранитными валунами. Рауль Абрамович с видом гурмана окунул в него правую стопу.

— Сорок пять градусов, — сообщил он нам. — У меня нога намётанная. Сорок пять — это близко к идеалу. Сорок пять с половиной было бы совсем хорошо. Но для начинающих и сорока пяти хватит.

Он опустил стопу на каменное дно, перенес на нее центр тяжести, присоединил к правой стопе левую и медленно погрузился в воду по грудь. Мы последовали его примеру.

— А что? — произнес Владлен Эдисонович. — Очень даже!

— Ха! — воскликнул профессор. — А он не верил! Он сомневался! Владлен, то, в чем ты сейчас сидишь, есть квинтэссенция японской культуры! Восток как таковой. Ты погляди на эти камни, погляди на этот мох, который их облепил! Послушай журчание этого источника! Внюхайся в эту воду! Или взгляни на табличку, которая перед тобой. Что на табличке написано, как ты думаешь? На ней написано трехстишие, сочиненное безымянным поэтом, который посетил этот источник триста лет назад. Чтобы мы тут не просто сидели и потели — а чтобы мы думали о возвышенном! Вадичек, переведи нам трехстишие.

— «Вода не для питья», — перевел я.

— А природа вокруг! Нет, Владлен, ты погляди на природу! Этой природой можно любоваться круглый год. Весной сакуры, летом хризантемы, осенью каки, зимой — снег на голых ветках... Разве такое есть в твоей Калифорнии?

— Ну-у-у-у... — протянул Владлен Эдисонович.

— А это что такое и куда? — вдруг спросил Гена Сучков, показывая пальцем на узкий канал, выходящий из бассейна и крюком заворачивающий за бамбуковую изгородь. — Может, это как раз в сауну?

— Может, — сказал Рауль Абрамович. — Может, в сауну. А может, и не в сауну. Надо проверить. Проверишь?

— Проверю! — Гена встал и сделал шаг к каналу.

— Полотенце! — напомнил ему профессор.

— А, да... — Гена поднял с гранитного валуна полотенце, прижал его к паху левой рукой и, балансируя правой, побрел по колено в воде. — Тут горячо! — сказал он на входе в канал, где как раз лилась вода из источника. — Тут, наверное, все сорок семь! — Высоко поднимая тощие ноги, он миновал горячее место и исчез за изгородью.

— Это, наверное, в бабское отделение! — шепнул Рауль Абрамович и затрясся.

— Зачем? — удивился Владлен Эдисонович.

— Тоже рудимент! Исторически было одно отделение на всех, теперь только дорожка осталась. Ну ничего, разберется, вернется.

Профессор погрузился в бассейн по шею. Владлен Эдисонович зачерпнул ладонями воды, омыл бакенбарды, довольно крякнул и погрузился тоже. Я уже сидел в воде по самые ноздри, наблюдая, как длинные сосновые иголки, похожие на ржавые пинцеты, плавают передо мной по белесой водной поверхности. К одному такому пинцету подрулила водомерка. Принюхалась, поморщилась — и порулила прочь, отфыркиваясь от испарений. Я ей посочувствовал.

— Удивительно, — сказал Владлен Эдисонович. — Такое райское место, и ни души!

— Погоди еще, — ответил Рауль Абрамович. — Часов с пяти-шести тут будет не протолкнуться. Про выходные я вообще молчу. Сейчас время рабочее, одни прогульщики приходят, вроде нас.

Он вылез из бассейна, подошел к торчащему из стены крану с надетым на него зеленым шлангом, повернул вентиль и облил себя холодной водой. Я тоже вылез, но вместо обливания завалился в сугроб. Полминуты полежал на спине и столько же на животе. Владлен Эдисонович просто постоял на каменных плитах, остывая пассивно. Потом все трое залезли обратно в бассейн.

— Что-то он долго, — озабоченно сказал Рауль Абрамович. — Взяли его тетки в оборот. Вадичек, может сходишь, посмотришь?

Не успел я дойти до канала, как Гена вышел оттуда сам. Левой рукой он прижимал к паху полотенце, а правой хватался за валуны, чтобы не споткнуться.

— Сауну нашел! — прокричал он радостно.

— Какую еще сауну? — удивился Рауль Абрамович. — Ты где был-то?

— Там женское отделение. Совершенно пустое. И в нем сауна. Сто десять градусов.

— Что за матриархат? — возмутился Владлен Эдисонович. — Почему тогда в мужском нету?

— Новые времена, — сказал я. — Политическая корректность.

— Может, сходим тогда? — Владлен Эдисонович вопросительно оглядел всю компанию. — Раз уж там пусто, а? Выставим караул и попаримся, как люди. А то мистер Судзуки узнает, что мы не попарились, и руки на себя наложит.

Рауль Абрамович задумался.

— Я в затруднении, — сказал он. — Конечно, можно еще раз спасти жизнь этому несчастному Судзуки. Но ведь я, как-никак, университетский профессор. Мне не к лицу тайком посещать женские бани. А ты какого мнения, Вадичек?

— По-моему, все не так трагично, — сказал я. В конце концов, мы могли перепутать. Мы иностранцы. Мы вовсе не обязаны знать иероглиф «мужчина». Если нас прищучат, мы всегда сможем оправдаться.

— Ты думаешь? Тогда иди первый, а мы за тобой.

Пройдя гуськом по каналу, мы оказались в точно таком же бассейне. Вылезли из него, прошлепали по каменным плитам и столпились у двери. Запотевшее стекло скрывало мыльню от постороннего взора. «Есть кто-нибудь?» — крикнул я, приоткрыв дверь на два пальца. Ответа не было. Мы проскользнули внутрь и двинулись по мыльне на цыпочках, прижимая полотенца к чреслам. Прислушались к предбаннику — там тоже было тихо.

— Отлично, — шепнул Рауль Абрамович. — Кто на шухере встанет?

— Давайте, я постою, — сказал Гена.

— Давай. Мы тебя потом сменим.

Полки в сауне были застелены широкими оранжевыми полотенцами. Пахло горячим деревом. С комфортом рассевшись, мы втянули ноздрями жаркий сухой воздух.

— Татэма ий дэс! — сказал профессор Лишайников.

— Чего-чего? — не понял Владлен Эдисонович. — Джапанис?

— Ага. Значит «очень хорошо».

— Понятно.

— А еще мне нравится, как по-японски «понедельник».

— Ну?..

— «Заебон»!

— Как?! — не поверил я своим ушам.

— А разве не так?

— Всегда было «гэцуёби».

— А вторник?

— «Каёби».

— А дальше?

— «Суйёби», «мокуёби», «кинъёби», «доёби»...

— Во! Точно! «Доёби»! А мне почему-то запомнилось «заебон». Выходит, это пятница?

— Суббота.

— Мда... Попробуй выучи такой неприличный язык...

— Как же ты преподаешь? — спросил Владлен Эдисонович. — У тебя студенты хорошо понимают английский?

— Мой английский понять несложно, — самокритично сказал профессор. — Проблема не в языке. Проблема в менталитете.

— То есть?

— Ну, вот тебе пример. У меня один аспирант выращивает кремний на опытной установке. Сам знаешь, все кристаллы никогда хорошими не выходят. Большая часть бракуется, что-то остается. Это нормально, так всегда. А тут еще и не повезло парню с первого раза. Из десяти кристаллов ни одного хорошего. Приходит ко мне, весь озадаченный. Сэнсэй, говорит, в чем тут дело? Я его успокаиваю: мол, всё делаешь правильно, тебе просто не повезло по закону бутерброда. Он не понимает. Я ему говорю: знаешь закон бутерброда? «Бутерброд падает маслом вниз» — слышал про такой закон? Нет, отвечает, не слышал. Я ему говорю: ты купи в магазине батон, дома порежь его на двадцать кусков и каждый намажь маслом. Сложи все в тарелку, а потом брось к потолку, чтобы они по комнате разлетелись. И посчитай распределение — сколько маслом вверх, а сколько вниз. Он кивнул, поклонился и говорит: хорошо, сэнсэй, я сегодня же это сделаю.

— Ничего себе, — сказал Владлен Эдисонович. — У них что, так туго с чувством юмора?

— Почему туго... У них просто традиционный восточный взгляд. Если сэнсэй говорит, значит надо выполнять, а не смеяться. Но потихоньку отмирает этот взгляд. У меня только один аспирант такой серьезный, а все остальные с чувством юмора. Любые задания воспринимают как шутку. И не выгонишь ни одного — за обучение уплачено.

— А вот у нас в Юнайтед Стэйтс... — начал было Владлен Эдисонович, но не договорил. В дверь просунулась голова Гены Сучкова и задвигала бровями. Мы проворно соскользнули с оранжевых полотенец — но только успели добежать до выхода, как Гена заскочил в сауну целиком, захлопнул дверь и схватился обеими руками за деревянную ручку.

— Кто же так стоит на шухере? — укоризненно шепнул ему Рауль Абрамович. — Надо было заблаговременно!

— Чччч! — прошипел Гена и припал ухом к двери. С полминуты все молчали.

— Вот он, закон бутерброда, — заметил Владлен Эдисонович. — А я уже пропотел. Мне бы выйти уже...

— Придется подождать, — шепотом сказал профессор. — Сейчас бабушки помоются и пойдут в бассейн. А мы вылезем — и через коридор в наше отделение. Сколько их там всего?

— Не знаю, — честно признался Гена. Я услышал шорох, и сразу сюда. А они вон как быстро.

— Вода течет? Воду слышно?

Гена еще раз приложил ухо к двери — как вдруг дверь слегка дернулась. Гена подпрыгнул на месте, крепче вцепился в ручку и уперся тощей ногой в косяк. Я поспешил ему на помощь. С той стороны подергали еще пару раз.

— Выпустите меня! — взмолился Владлен Эдисонович. По его бакенбардам струился пот. — Я притворюсь японкой!

— На пол, Владлен, на пол! — скомандовал Рауль Абрамович. — Внизу легче.

Владлен Эдисонович принял положение лежа. Дверь больше не дергалась, но мы с Геной боялись ее отпустить — еще минуту не выпускали ручки и не отрывали ног от косяка. Рауль Абрамович тем временем обмотал вокруг себя оранжевое полотенце, а из маленького сделал подобие чадры.

— Все спрятал, — сказал он. — Делайте так же. Ни одна бабушка не испугается.

Дверь рванулась с удвоенной силой. Мы с Геной вцепились в ручку что было мочи — но со второго рывка она оторвалась. Споткнувшись о лежащего на полу Владлена Эдисоновича, мы оба завалились в промежуток между полками и кирпичной стенкой, отгораживающей печь.

В дверях стоял давешний импозантный мужчина в резиновых сапогах. Округлив глаза, он смотрел на открывшуюся ему сцену из античной жизни. Патриций в оранжевой тоге, египетский сфинкс и два поверженных легионера.

— Мы перепутали, — сказал я, потирая ушибленный затылок. — Мы не умеем читать. Мы боялись испугать женщин. Извините, пожалуйста...

Глаза мужчины немножко сузились обратно.

— Ага, — сказал он. — Конечно...

Дверь закрылась.

— Ну вот, — сказал Рауль Абрамович, снимая с себя тогу и расстилая ее на полке. — Ложная тревога. Нет там никаких бабушек.

Поместив отломанную дверную ручку на кирпичи, мы покинули сауну. Владлен Эдисонович открыл дверь на улицу, ступил за порог — и вдруг молниеносно впрыгнул обратно, отдавив мне ногу.

— Там кто-то сидит! — прошептал он. — Там бабушка!

— Через коридор! — скомандовал Рауль Абрамович. Мы бегом пересекли мыльню, вышли в предбанник и остановились под занавеской.

— Перебежками по одному, — сказал профессор. — Кто первый?

— Давайте я, — вызвался Владлен Эдисонович. Он высунул голову из дверей, повертел ей туда-сюда, прижал к паху полотенце и засеменил по дуге в соседний вход — но через две секунды прискакал обратно с изменившимся лицом.

— Там тоже бабушка! — сообщил он нам

— Что за ерунда? — пробормотал Рауль Абрамович. — Вадичек, иди разберись.

— Занавеску видите? — сказал я. — Какого она цвета?

— Хм... Теперь она синяя. А раньше была красная, я точно помню. Мы под синюю зашли, под мужскую.

— Ну вот. Раньше мужское отделение было там. А теперь здесь. Поскольку сауна у них одна, отделения меняются. До пяти часов сауна в женском, а после пяти — в мужском. Перевешивают занавески. Так часто делают.

— А нам не сказали?!

— Не сказали. Видимо, забыли. Этот дядька, наверное, нас и искал, чтобы сказать. А мы от него зачем-то спрятались.

— Получается, там вовсе не бабушка сидит, в бассейне?

— Выходит, не бабушка. Скорее, дедушка. Бабушки там, где наши вещи лежат. Потом попросим, чтобы их принесли.

— Правильно. А пока пошли к дедушке.

Уже ничего не боясь, мы выбрались на улицу, преодолели цепь каменных плит и оказались у бассейна. Из него торчала мужская голова с короткой стрижкой, упитанными щеками и узкими щегольскими усиками.

— Каничива, — сказал Рауль Абрамович и изобразил поклон. Голова на приветствие не ответила. Мы залезли в воду и расселись вдоль гранитных валунов, побросав на них свои полотенца.

— Татэма ий дэс, — еще раз обратился к голове профессор. Голова молчала. Профессор вздохнул и лег затылком на камень, устремив взгляд на небо. Оно начинало темнеть. Над горизонтом зажглась первая звезда.

— Это Марс или Венера? — полюбопытствовал Владлен Эдисонович.

— Юпитер, — авторитетно заявил Гена Сучков. — Там сейчас должен быть Юпитер.

— Да, — согласился Рауль Абрамович. — Теперь опять называется Юпитер.

— Что значит «опять»? — не понял Гена.

— Молодой еще, — усмехнулся профессор. — Не знает, как Юпитер назывался при коммунистах.

— А как?

— Юленинград!

Три русских живота синхронно подпрыгнули под водой и затряслись, гоня мощную волну. Дойдя до головы напротив, волна плеснула ей в ноздри и намочила усы. Бассейн еще дрожал от нашего хохота, как вдруг всё перекрыл недовольный хриплый рев:

— ЭЙГО ВАКАНННАЙ !!!

Сразу вслед за этим голова начала подниматься из воды — и нам открылась удивительная картина.

Непосредственно за человеческой головой шла голова рыбья. Вылезая из воды, она тянула за собой грациозно изогнувшееся туловище, мощный хвост и крутые волны, в которых рыба плескалась. Волны были синие с белыми барашками, а рыбу покрывала серебристая чешуя. С рыбой соседствовали два дракона с когтистыми лапами и длинными языками — они начинались на плечах, обвивали бицепцы и трицепцы, извивались на предплечьях и свешивали хвосты на запястья. Разглядеть, что было в паху, мешало полотенце. На ногах опять начинались разноцветные змеиные кольца, уходившие под воду.

Обладатель всей этой красоты, надменно выпрямившись, смотрел на нас, как розовый фламинго на белых червяков. Потом он повернулся задом, явив нашему взору потрясающий гибрид японской сакуры с запорожским дубом — это мощное древо цвело по всей его спине мелкими цветками, тут и там выкидывая сильно стилизованные желуди. Корни древа расползались по ягодицам и очень достоверно переходили в змеиные кольца. Покрытая чешуей нога шагнула за валуны, приняла на себя тяжесть тела — и вместе с другой змеиной ногой понесла всю эту выставку в мыльню.

— Что он сказал, Вадичек?

— Сказал, что не понимает английского языка.

— Так ведь мы... А, ну да, ему все едино...

— Кто это такой вообще? — спросил Владлен Эдисонович. — Зачем так орать?

— Это местный мафиози. Якудза. Правда, Вадичек?

— Похоже на то. Только вот мизинец у него присутствует. Был бы отрублен, значит сто процентов якудза. А так только девяносто. Не исключено, что он никакой не якудза, а просто тимпира. Приблатненный.

— Ну, все равно... — пробормотал Владлен Эдисонович. — А ведь там у меня Американ Экспресс... Вы говорили, здесь нет воров и бандитов...

— Твой экспресс у бабушек, — успокоил его Рауль Абрамович. — Бабушки на страже. Мне вот интересно, почему у него рыба на груди.

— Это карп, — сказал я. — Символ мужества. Или богатства, не помню.

— А драконы?

— Драконы — символ чего угодно. Драконов где хочешь рисуй, не прогадаешь.

— А сакура чего символ?

— Сакура — символ Японии. Пора бы знать такие вещи.

— А, ну да... Вот видите, здесь даже уголовники чувствуют прекрасное. Даже у них все продумано. Своя эстетика, своя символика...

— У наших тоже символика, — хмуро отозвался Владлен Эдисонович. — Кинжал символизирует «смерть ментам». Черный квадрат — «от звонка до звонка». Паутина — «сижу за гоп-стоп». Белая корона — «пахан». Три точки — «петух»...

— Что ты, Владлен!.. — запротестовал Рауль Абрамович. — Как можно сравнивать?..

— А есть еще аббревиатуры! ЛЕБЕДУН — «любить ее буду, если даже уйдет навсегда». ТИГР — «товарищи, идем грабить ресторан». ДЖОН — «дома ждут одни несчастья». ПИПЛ — «первая и последняя любовь». ЛСД — «любовь стоит дорого»...

— Боже! — воскликнул профессор. — Откуда такие познания?

— А я знаю, как расшифровывается ЯПОНИЯ, — сказал вдруг Гена Сучков.

— Как?!

— «Я прощаю обиду, не измену, ясно?»

Дверь в мыльню открылась, и мы снова увидели татуированного посетителя. Уверенно ступая чешуйчатыми ногами по камням, он нес перед собой фанерный короб. Залез в бассейн, сел, поставил короб перед собой на воду. Из-за бортов поднималось узкое горлышко кувшина. Посетитель наклонил его, побулькал, вынул из короба бумажный стаканчик, опрокинул в рот и крякнул:

— УМЭ !

— Очень вкусно, — перевел я.

— Понятно, — кивнул Владлен Эдисонович. — Хочет, чтобы мы с ним вместе порадовались. Передайте ему, плиз, что я глубоко тронут. И пусть он еще выпьет.

— Да ладно, — сказал я. — Не станет он с фраерами разговаривать.

Татуированный меж тем снова наклонил емкость и булькал несколько дольше, производя в коробе какие-то манипуляции. Потом вернул кувшин в вертикальное положение и толкнул короб обеими руками от себя.

— НОМЭ !

Слегка покачиваясь, короб пересек бассейн и уткнулся в грудь Владлену Эдисоновичу. Внутри стояли четыре бумажных стаканчика, наполненных на треть, и мелкие коробочки с разной закуской.

— Угощает, — перевел я.

— Спасибо... Как «спасибо», забыл... Аригато?.. Аригато!!!.. Это сакэ?.. И даже горячее?.. О-о-о... Ралька, ты только попробуй!

— Я за рулем, — сказал Рауль Абрамович. — Хотя нет, давай, а то обидится...

Мы выпили, составили стаканы в пирамидку и с поклоном отправили короб обратно. Татуированный посетитель поймал его, налил, выпил, чем-то закусил. Потом наставил на нас указательный палец и спросил:

— Амэрика?

— Йес, — сказал Владлен Эдисонович.

— Ноу, — сказал Рауль Абрамович.

Татуированный недоуменно перевел взгляд на Гену Сучкова.

— Раша! — сказал Гена.

— А-а-а! — закивал татуированный. — Росиа!..

Он разобрал пирамидку, повторил разлитие и снова отправил короб в нашу сторону, выразительными знаками призвав нас не только пить, но и закусывать. Рауль Абрамович втихаря перелил свое сакэ в чужой стакан. Владлен Эдисонович тщательно исследовал содержимое коробочек.

— Это что за тараканы такие?

— Это саранча, — объяснил я. — Жареная в соевом соусе с добавлением сахара. Довольно вкусно. Только иногда ноги в зубах застревают.

— Нет, саранчи не надо. Тут вот огурцы, морковка, я лучше морковку...

Когда короб снова отплывал от нас, мы подняли вверх сразу восемь больших пальцев. Татуированный радостно осклабился. Настроение у него повышалось.

— Росиа, — задумчиво произнес он после третьей. — Росиа...

И вдруг просиял:

— Бубука!

— Что он говорит? — повернулся ко мне Рауль Абрамович.

— Не пойму, — сказал я. — Бубука какая-то...

— Бубука! — повторил татуированный и описал рукой высокую параболу.

— А-а-а! — догадался профессор. — Бубка! Сергей Бубка! Прыжки с шестом.

— Йес-йес! — закивал татуированный, отсылая нам третий магарыч. — Бубука! Сэругэй Бубука — намба ван!

Пока мы выпивали, он задумчиво смотрел на воду. Потом сказал:

— Орэмо вакай токи яттэта.

— Говорит, в молодости тоже прыгал с шестом, — перевел я.

Татуированный выбрался из бассейна на гравий, подошел к стене, где стояли грабли с бамбуковым черенком, и взял их наперевес. Сделал одухотворенное лицо и побежал в сторону изгороди. Казалось, он хочет перемахнуть через нее и нырнуть в бассейн к бабушкам — но такой подвиг был ему уже не под силу. Он лишь стукнул граблями по гравию, лениво обозначил преодоление планки и плюхнулся в сугроб.

— Ха-ха-ха! — донеслось из сугроба. — Вакай токи нэ!

— Молодой прыгал, — перевел я. — Сейчас годы не те.

В сугробе после прыжка осталась обширная вмятина. Мне даже почудилось, что и татуировки отпечатались тоже. Сам прыгун быстро залез обратно в бассейн, потряс кувшином, нацедил остатки в стакан и выпил.

— Моттэ куру! — сказал он, опять вставая. — Маттэ!

— Говорит: ждите, принесу еще.

— Он хочет нас напоить, — заключил Рауль Абрамович, когда татуированный скрылся за дверью. — Надо бы нам уже потихонечку-полегонечку...

— Да, собственно, уже и хватит, — сказал Владлен Эдисонович. — Я насиделся.

— Я тоже, — присоединился Гена Сучков. — Голову помыть, и на выход.

Мыльня была пуста.

— Вадичек, это что написано? — спросил профессор. — Мыло или шампунь? Мыло? Значит, вот это шампунь. Все поняли?

Мы расселись на пластмассовых табуретках и принялись намыливать головы.

— Моттэ кита! — послышалось сзади. — О-сакэ!

Татуированный коробейник стоял у нас над душой со своей провизией. Рауль Абрамович выразительно потыкал пальцем в сторону двери на улицу.

— Летс дринк ин зэ ротэмбуро!

— А-а, йес-йес! — закивал коробейник. — Ротэмбуро!

Он прошагал к двери и исчез за ней вместе со своим коробом. Мы домылись и вышли в предбанник. Корзины с нашей одеждой уже были здесь, заботливо кем-то перенесенные. Владлен Эдисонович обследовал карманы брюк, убедился в сохранности всего оставленного и просветлел лицом.

— Здесь все для людей! — сказал Рауль Абрамович, натягивая носки. — Никогда не устану этого повторять. Здесь все продумано так, чтобы нам было хорошо! Правда, Вадичек?

— Святая правда! — отвечал я, застегивая часы. — Как у Будды за пазухой!

— Конечно, конечно, — бормотал Владлен Эдисонович. — У вас тут просто какое-то буржуинство. Бочка варенья, корзина печенья, рюмка сакэ... И все бесплатно.

— Тогда это не буржуинство! — возразил Гена Сучков. — Это наоборот, полный коммунизм! Мы его строили-строили — а построили японцы.

— Да какая разница? — сказал Рауль Абрамович. — Коммунизм, капитализм... Главное, чтобы всем было хорошо, я так считаю. Да, Вадичек?

— Вестимо, — сказал я.

Дверь вдруг открылась, и показалось татуированное тело.

— Э-э-э-э... — разочарованно произнес наш собутыльник. — Томаранай?

— Томаранай, — подтвердил я. — Мы ведь не остаемся здесь ночевать?

— А здесь что, гостиница? — спросил Владлен Эдисонович.

— Получается... Хочешь, ночуй, не хочешь, не ночуй...

— О-сакэ! — сказал собутыльник и протянул бумажный стаканчик Раулю Абрамовичу.

— Айм драйвинг, — запротестовал было Рауль Абрамович, но тут же смягчился и принял подношение. — Аригато!

— Минна! — сказал татуированный, облачаясь в халат и обводя нас пальцем.

Мы выпили по глотку и вышли в холл. Татуированный не отставал. За стойкой дежурил все тот же импозантный мужчина. Я подошел его поблагодарить.

— Спасибо. У вас здесь замечательно.

— Вам понравилось?
— Очень!
— Из какой вы страны?
— Из России.
— О-о-о... В России холодно, да?
— Да, ужасно холодно.
— Тогда приходите к нам. У нас тепло. У нас тут горячая вода.
— Конечно. Мы придем.
— Пожалуйста, приходите. Мы будем рады. И вот, господин Судзуки тоже.
— Как вы сказали?!
— Судзуки-сан... Вы ведь говорили, он ваш друг... Судзуки-сан!
— Хай! — отозвался татуированный.
— Это ваши друзья, да?
— Йес-йес! — сказал татуированный и облапил Рауля Абрамовича. — Май бэсто фрэндо! Ха-ха-ха! Ай рабу ю! Ха-ха-ха!

Профессор неловко перетаптывался, косясь на предплечье с драконьим хвостом. Судзуки-сан извлек откуда-то и сунул ему в руку рекламный календарик.

— Томодати ни мурё да!
— Для друзей бесплатно, — перевел я.

На календарике была изображена полуголая девица.

— Что это? — спросил Гена Сучков.

Судзуки-сан изобразил свободной рукой сразу две параболы — горизонтальных, на уровне груди.

— Топурэссу дансу!
— Аригато, — сказал Рауль Абрамович, ловко переведя поклон в освобождение от захвата. — Ви гоу хоум. Бай-бай!
— Бай-бай! — послушно повторил господин Судзуки.
— Большое спасибо, приходите к нам еще! — донеслось из-за стойки.

На машину падал мелкий снег. Лес вокруг погружался в темноту.

— Слушай, Ралька! — сказал Владлен Эдисонович. — Я все хотел спросить. Там на самом деле водомерки бегали, или это я в сауне пересидел?
— Водомерки? — удивился Рауль Абрамович. — Какие могут быть в феврале водомерки?
— Вот и я думаю... Может, это шатуны? Медведи тоже так иногда...
— Может, Владлен, может... Здесь все бывает, ты же видишь... Удивительно только поначалу, потом привыкаешь. Может, и водомерки...
— Как же они выдерживают сорок пять градусов? — усомнился Гена Сучков.
— Кто выдерживает, а кто и нет.

Профессор завел двигатель, включил задний ход и газанул. Машина рванулась назад, раскидывая гравий из-под колес. Мы толком и не расслышали, как над водой озера захлопали лебединые крылья.

декабрь 2001г.

Киевское динамо

На улицу Накабяку опустилась полночь. Часы на фасаде кофейни «Хаппи Хаус» возвещали, что через десять минут пятница закончится, а суббота начнется. Тротуары, по будням пустынные, были изрядно оживлены. Туда-сюда по ним перемещались расслабляющиеся трудовые коллективы, шумные компании студентов, отдельные сладкие парочки и вовсе одинокие гуляки. Радуясь наступлению выходных, они устраивали себе длинные праздники живота и печени с торжественными переходами из заведения в заведение.

На дне моего желудка устало шевелил пережеванными щупальцами свежесъеденный жареный кальмар. Сверху его придавливали тунцовые сасими, куриные шашлычки, морские водоросли и маринованные трепанги. Вся эта кухня плавала в двух кувшинчиках горячего сакэ — оно активно воспаряло в головной мозг и приятно колебало уличную перспективу. Мой праздник был ничем не хуже любого другого.

Кофейня по левую руку сменилась рестораном «Тэнгу» — аляповатая вывеска на нем звала отведать черепашьей крови и жареной рыбы фугу. Круглые мумии трех таких рыб висели у входа на ниточках, покачивались на ветерке и стукались друг о дружку лбами. Чуть в стороне, покачиваясь в одном ритме с мумиями, справлял малую нужду изнуренный клиент, перебравший черепашьей крови. Проходящие мимо удостаивали его молчаливым пониманием.

Далее высилось трехэтажное здание «Апоро-биру». По тротуару слонялись развязные зазывалы и совали в руки прохожим рекламные листки. Двое из них гайдзином не побрезговали, двое гайдзина проигнорировали, а один повел себя странно: развернулся к стене и обхватил голову, как приговоренный к расстрелу. Но это ему не помогло — долговязую сутулую фигуру трудно было не узнать.

— Эй! — позвал я. — Дзюнтаро!

Он уронил руки, нехотя повернулся.

— Привет, Бадыму. Давно не виделись.

— Новая работа?

— Третий день сегодня. Не могу привыкнуть. Стесняюсь...

— Чего стесняться? Работа как работа.

— Тогда держи. — В руке у меня оказался календарик с полуголой девицей. — *Топпурэсу дансу.*

— Хм... Где-то я это уже видел.

— Возможно. Они тут уже полгода. Большое заведение, на втором этаже. Раньше это был гей-бар, единственный в городе, маму-сан все знали. А потом он умер, и бар закрылся.

— Кто умер?

— Мама-сан. От рака. Теперь новые хозяева, бизнес новый, перспективный. Меня вот взяли... Раньше я еще успел санитаром поработать, а потом на фабрике. Но это хуже гораздо — до того тупеешь, что вечером пальцы не слушаются. Уж лучше здесь.

— Тебя в «Кукле» давно не видно. С Кеном больше не играешь?

— Да, на фьюжн потянуло, к мэйнстриму остыл. Кстати, ты слышал последнего Рона Джейсона? «Форева блайнд» — слышал?

— Не слышал.

— Это что-то. Ты просто обязан его послушать. Пойдем наверх, у меня диск в сумке.

Мы поднялись по широкой открытой лестнице. Из ниши в стене на нас глядел Аполлон, воздвигнутый в эпоху гей-бара.

— Скоро уберут, — сказал Дзюнтаро. — Венеру поставят.

Он взмахнул рукой, показывая на широченную, в полстены, вывеску:

Биинасу
топпурэсу сё

Venus
topless show

— Подожди здесь. — Не успела дверь за ним закрыться, как на площадку выскочила рослая блондинка и понеслась к лестнице, выбивая шпильками дробь из бетонного пола. Схватилась за перила, коротко глянула вниз и побежала обратно. Из дверей выглянула еще одна — тоже блондинка, но пониже.

— Где тэнчик? — закричала первая. — Тэнчик где? У меня три кекса, блин, все без заказов, два уже на морозе. Пусть отсодит нахер! Пусть нормальных даст!

— Та шо ты, блин, Оксана! Я тебя умоляю, — сказала вторая. — На шоу-тайме сдерешь.

Заметив меня, они недоуменно переглянулись и скрылись за дверью. Вышел Дзюнтаро.

— Слушай, — сказал он. — Я забыл, что этот диск мне завтра будет нужен. Ты сейчас куда шел?

— Домой.

— А чего бы тебе не зайти? Посидишь, выпьешь, на девушек посмотришь. Один час — четыре тысячи. Пей, сколько влезет. А я пока на кассету перепишу.

— Откуда девушки-то?

— Из этой, как ее... Из Украины. Зайдешь?

— Ну хорошо, зайду.

— Только скажи начальству, что это я тебя привел, ладно?

За дверью оказалась стойка с холеным молодым человеком. Его лицо источало профессиональную смесь достоинства и угодливости.

— Хороший у вас зазывала, — сказал я ему. — Невозможно мимо пройти.

— Добро пожаловать, — ответствовал он с легким поклоном. — Будете делать именной заказ?

— В смысле?

— Заказ на девушку будете делать?

— Это обязательно?

— Можно и без заказа. Но тогда мы не гарантируем вам общество.

— А выпить гарантируете?

— Выпить гарантируем. С вас четыре тысячи иен.

Я заплатил. Заведение раздвинуло стеклянные двери, обдало меня табачным дымом, пахучей парфюмерией и долбливой попсой. Вдоль стен тянулись зеркала, вдоль зеркал сидели клиенты и старательно наслаждались гарантированным обществом. Словив пару любопытствующих взглядов, я присел за пустующий столик и стал изучать стоящие в его середине бутылки. Коньяк Suntory, виски Suntory, еще виски Suntory, опять виски Suntory...

— Hello! — раздалось над ухом. Я увидел чернявого цыганистого парня. — Меня зовут Карлос. Что будете пить?

— Привет, Карлос, — сказал я. — Дай мне стакан, я сам разберусь.

Не успел Карлос исчезнуть, как на его месте оказалось прелестное создание в кожаной мини -юбке и короткой маечке. Распущенные белые волосы напоминали исполинский одуванчик. Грациозно оттопырив задик, создание уселось напротив и протянуло мне кончики пальцев.

— *Комбанва*! Анжелика *дэс*.

— Вадик дэс, — сказал я, осторожно за них подержавшись.

— *Сумимасэн*?

— Можно по-русски, я свой.

Косметика на ее лице изобразила крайнюю степень удивления.

— Чё, правда?

— Правда, правда... *Хонто*.

— Ничего себе... — Она встала и захлопала в ладоши. — Девчонки!!! Сюда!!! Карлос!!! *Бринг водка*!!! — Снова села, внимательно вгляделась в меня и спросила:

— А ты в курсе, что Карлос голубой?

— Теперь буду в курсе.

— У нас все бразильцы голубые. Чтобы мы от кексов не отвлекались.

— От чего?

— Ну, от клиентов. «О-кяку-сан». Сокращенно «кекс». Знакомься, вот это Барби, а это Моника.

Я кивнул двум подошедшим красавицам. Внешность первой довольно точно повторяла американский кукольный прототип. Вторая больше походила на бабу с одесского привоза.

— Ох ты ё! — сказала она, усаживаясь ко мне поближе. — В кои-то веки.

На столе появилась бутылка водки Suntory, четыре стакана и контейнер со льдом. Барби взяла щипцы и навалила полный стакан ледяных кубиков.

— Ты шо, дура? — сказала Моника.

— Привычка, — смутилась Барби. — все виски да виски...

Она ссыпала кубики обратно в контейнер, Анжелика наполнила стаканы, и я провозгласил тост:

— За встречу!

Пятьдесят грамм водки Suntory оросили маринованных трепангов. Градус повысился. Жареный кальмар блаженно раскинул щупальца в стороны.

— Кайф! — сказала Анжелика. — С кексом по-русски... Непривычно даже.

— Та шо это, кекс? — возразила Моника. — Кексы вон сидят. Козлы, блин... А это наш русский мужик! Мы его сейчас попросим, и он нам всем заказ сделает.

— Чего сделаю?

— Ну, заказ! Платишь две сэнки, и я с тобой целый час сижу. Давай, а то меня опять к этим козлам отсодят.

— Вот придут отсаживать, тогда и будет тебе заказ.

— О-о-о! — Она запустила пятерню мне в волосы. — У тебя такие кудри!

— Где у меня кудри?

— О-о-о! Русские кудри! Я не могу... Ты такой, блин, *плэйбой*!.. Ты такой, блин, *альфонс*!.. Ох, бляха, я щас кончу...

— Моника! — раздалось откуда-то сзади. — Шоу-тайм!

— Та шоб их всех, — сказала Моника, отрываясь от русских кудрей.

Снова появился Карлос, поставил на стол закуску — порезанные вдоль огурцы и морковки, плюс майонез на отдельном блюдечке. Анжелика повторила разлитие, уже в три стакана — и вдруг послышался надтреснутый, еле живой голос:

— Приве..е..ет...

Голос принадлежал очень худой и очень бледной девице с потухшими глазами. Она держалась обеими руками за спинку стула и слегка покачивалась.

— Добрый вечер, — сказал я. — Присаживайтесь.

— Не..е..е... У меня зака..а..аз...

Она сделала плаксивое лицо и медленно уползла.

— Что это с ней? — спросил я. — Болеет?

— Это понарошку, — объяснила Анжелика. — Роза всегда типа болеет, у нее имидж такой. Ее тогда кексы жалеют и денег дают больше. А так она нормальная, только в роль сильно вошла, мы даже беспокоимся теперь. Давай выпьем, чтоб она была здорова.

На трепангов обрушилось еще полста.

— *Бааби*!.. *Андзерика*!.. *Симэй дэс*!..

— Нас заказали, — деловито сказала Барби, ставя на стол пустой стакан. — Отдыхай, увидимся.

В одиночестве я сидел недолго и через минуту перешел под опеку следующей красавицы. Она была похожа на воздушный шарик, в нужных местах перетянутый тугими резинками, — а походку имела такую, словно ее с отскоком от пола вел невидимый баскетболист. Плюхнувшись напротив, выбросила в мою сторону жеманно изогнутую руку:

— Говорят, наши в городе?

— Не врут.

— Каролина.

— Очень рад.

— А чего ты девчонкам не башляешь?

— Жадный.

— Да ладно тебе. Ты давай башляй.

— Ага.

Попса в динамиках вдруг обрубилась, и свет в заведении стал медленно гаснуть.

— *Рэдиз андо дзенторимен*! — раздалось под потолком. — *Сёу-тайм*!!!

Публика затихла и напряженно подалась вперед. Сценическое возвышение осветилось, заиграл какой-то несуразный гопак — и кулисы исторгли тощенькую приму в цветастой пачке и в таком же цветастом бюстгальтере. Выбежав на середину, прима исполнила несколько не вполне уверенных па, а затем нажатием потайной кнопки отправила обе половины бюстгальтера дуплетом в потолок, явив взорам изголодавшейся публики давно обещанное.

— *Рэдиз андо дзенторимен*! — торжественно возгласил ведущий. — *Дзыс из Синди*!!!

Под одобрительные крики и рукоплескания Синди разыграла минутную пантомиму, изображая сразу и корову, и доярку. Затем спустилась в зал и подиумным шагом направилась к ближайшему зрителю. Пантомима повторилась в сокращенном варианте у него перед носом. Зритель вытащил кошелек.

— Понял, как надо? — наставительно сказала Каролина.

Когда Синди взошла обратно на сцену, балетной пачки на ней уже не было, а из трусов во множестве торчали тысячные банкноты — как подрывные брошюры за кушаком революционного студента. Она раскланялась, послала залу воздушный поцелуй и исчезла за кулисами.

— Ну, чего не дал? — строго спросила Каролина. — Жаба давит?

— Так она не подошла... Кабы подошла, я б дал...

— Рассказывай! — Каролина махнула рукой, поднялась и отпасовалась на другую половину поля.

Музыка сменилась на что-то сладкозвучно-персидское. Я взял два морковных ломтика и попробовал загрести ими побольше майонеза. Ломтики были длинные, хлипкие, немилосердно гнулись и на роль палочек совсем не годились.

— *Рэдиз андо дзенторимен*! *Дзыс из Моника*!!!

Я поднял глаза и увидел на сцене свою недавнюю собеседницу. Она блестела и переливалась, вся увитая разноцветной мишурой и перьями. Из области копчика произрастал павлиний хвост. Спереди, потеснив перья и мишуру, выпукло торчало все то же. Новую пантомиму следовало бы назвать «Птичье молоко».

Выполнив план по надою, Моника спустилась со сцены и направилась прямиком ко мне. Дойдя, развернулась задом и несколько раз подвигала вверх-вниз хвостом. Амплитуда была впечатляющей.

— Классно, — сказал я.

Уперев руки в боки, она стояла передо мной. Ей не хватало лишь прилавка с толстолобиками.

— И что теперь? — спросил я. — Денег дать?

Она уверенно кивнула. Я вытащил из кармана тысячную купюру и сунул ей куда-то в мишуру. Она довольно хлопнула себя по оперению, потрепала меня по щеке и проследовала к следующему столику — а там уселась на зрителя верхом и скакала на нем амазонкой, покуда тот не раскошелился.

— *Рэдиз андо дзенторимен*! *Дзыс из Памэра*!!!

Третий номер программы был, видимо, задуман гвоздем. Таких размеров и таких надоев не видывала никакая ВДНХ. Клиенты заведения благоговейно примолкли и таращились на рекордсменку, чтобы во всех деталях донести увиденное до друзей и сослуживцев. Памела властно и величественно прошлась по залу — как татарский хан, собирающий дань с покоренного племени. Я был единственным, кто удостоился от нее каких-то слов. Принимая от меня очередную сэнку, она наклонилась и жарко прошептала:

— Милый, как меня достали эти обезьяны!..

Я проводил ее взглядом до следующего столика, где уже взволнованно трепыхались протянутые банкноты. Вдруг справа вытянулась чья-то рука и утерла мне нижнюю губу влажной салфеткой. Рука принадлежала конопатой девчонке с озорными глазами — я и не заметил, как она подсела ко мне со своими шуточками.

— Привет, меня зовут Миранда.

— Привет, Миранда.

— За знакомство?

— Давай.

— *Рэдиз андо дзенторимен*! *Дзыс из Антонио*!!!

На сцене нарисовался мускулистый бронзовый красавец в плавках. Он поворачивался туда-сюда и напрягал различные группы мышц, как на турнире по бодибилдингу.

— *Антонио из МАЧО* !!!

— *МАЧО* !!! *МАЧО* !!! — в восторге заголосили пьяные гости.

— Тьфу ты! — сказала Миранда. — Руки-то красные. «Мачо»...

— А почему красные?

— Он у нас посудомойка. Сейчас покривляется, штаны наденет, и опять на трудовую вахту.

Мачо обошел зал, собирая в плавки чаевые.

— *Рэдиз андо дзенторимен*! *Сёу-тайм из ова*! *Санкю вери мач*!!!

На сцену выкатили установку для караоке. Из зала вышла тетенька лет семидесяти, овладела микрофоном и затянула грустную песню.

— Надеюсь, она не будет раздеваться? — спросил я.

— Эта не будет. А вообще бывает — иной кекс переберет и давай стриптизить. Помню, один монах из рясы выпрыгнул и за Каролиной погнался. Еле убежала.

— Весело тут у вас.

— Ну. Потом, говорят, надоедает. Но я недавно, мне еще не надоело.

— А с языком как?

— Пока не очень. Но я учу. Вот, смотри...

Миранда протянула крохотный блокнотик. Я открыл наугад и прочитал:

боинчан — грудь	*скебе — козел*
печапай — грудь	*сэнэн — сэнка*
ощили — жопа	*ичиман — манка*
атока — мужик	*оманка — спросить у девч.*

— Хороший глоссарий, — сказал я. — Репрезентативный. Но есть некоторые неточности в переводе. Вот, скажем, «скебе» — это не то, чтобы «козел».

— А как?

— Ну, что ли... «сексуально озабоченный».

— Значит, козел и есть. Все правильно. Что они, не козлы разве?

— Козлы, блин, все как один! — вернувшаяся Моника, уже без хвоста и перьев, устраивалась рядом. — Тупые, грязные, скебешные козлы!

— Точно, — подтвердила Синди, вливаясь в компанию. — Козлы. И обезьяны. Все до одного. Ненавижу.

— Кто это «все до одного»?

— Кто, кто... Японцы! Нация дегенератов. Или я неправа?

— По-моему, нет.

— Погоди, — сказала Моника. — А ты шо вообще тут делаешь? Работаешь?

— Да, в университете...

— И хочешь сказать, они тут не козлы?

— Бывают, конечно, но ведь не все...

— Та ну! Шо ты видел в своем, блин, университете? Я тебя умоляю! Козел на козле и козлом погоняет. Вон, гляди:

— ДЗЯН !!! КЕН !!! ПОН !!! — грохнуло за столиком в углу. Клиенты играли с девушками в «камень-ножницы-бумагу» — выбрасывали кто кулак, кто два пальца, кто ладонь. Проигравший выпивал рюмку водки.

— Ну шо, не козлы? Ты можешь представить, шоб русские мужики маялись вот такой же, я извиняюсь, херней? А эти ничего другого не умеют и не хотят. В натуре козлы. У нас, блин, Кучма — и тот умнее.

— Ладно, — сказал я, — вас не переспоришь. Козлы, так козлы.

— Правильно! Давайте выпьем за русских мужиков!

— Ура-а-а!!!... За русских!!!... За мужиков!!!...

— А где Сабина? — осведомилась Моника, опорожнив свой стакан. — Мы тут за москалей пьем, так она шо — спряталась?

— Кто такая Сабина?

— Да то заподэнка. Тернопольская. Пропала куда-то.

— А остальные откуда?

— Остальные с Киева.

— Слушай, почему у вас с закуской так хило? Бразильцы на кухне съедают?

— Щас будет. Значит так. Я тебе закуску, ты мне заказ. Две сэнки. Нормально?

— Нормально.

— Давай сюда, я в кассу отнесу.

Она сгребла деньги и ушла к дверям. Пользуясь ее отсутствием, Миранда наклонилась ко мне и сказала:

— Я тоже так думаю!

— Как?

— Что они не все козлы. Я знаешь, как думаю? Я думаю, что есть плохие, а есть хорошие. Как и у нас. Я над этим очень долго думала.

— Сабина, дывысь, якый гарный хлопец! — Моника вела за руку высокую шатенку. — Мы тут общаемся, а ты спряталась.

— Мэнэ кексы замовылы, — сказала Сабина, усаживаясь. — Я хлопця ще з самого початку побачила. Очам не повирыла: звидкыля такый узявся? Зачудувалася. Хто тилькы до нас не прыходыть...

— Сабина, он говорит: наши кексы не козлы!

— Та ну! Та вже ж воны не дурни? Прыходять, сидають и мэнэ запытують: ты звидкыля? Я им говорю: з Тернополя. Що?! З Чорнобиля?! Лякаются и видразу тикають. Хто ж воны ще, як не дурни?

— Ну и хорошо, что дурни. Были бы умные, разве б мы столько зарабатывали? Давайте выпьем за наших кексов!

— Ура-а-а!!!... За кексов!!!...

Пришел Карлос, поставил на стол новую бутылку водки Suntory и блюдечко. Сфокусировав взгляд, я разглядел на блюдечке горсть фисташек.

— Это «закуска»?!

— А шо? Где я тебе еще найду? У нас тут, блин, не Макдональдс.

— Я найду! — сказала Синди. — Сделаешь мне заказ?

— Сначала найди, потом заказ.

Синди побежала за сцену, Миранда за ней. Моника деловито наполняла стаканы. Сабина, подперев щеку, глядела на меня.

— Обережно з горилкою, хлопче! До хаты не потрапыш, пид забором будеш ночуваты. Мы з усима кексами пидряд пьемо, натренувалыся, куды тоби до нас.

— Ничего, — сказал я. — Ты нашего брата москаля еще не знаешь.

— Та господы! — вздохнула Сабина. — Хиба ж я вас не бачила...

На столе появилась картонная коробка с половинкой холодной пиццы. Синди стояла над ней с видом Геракла, добывшего золотые яблоки. Миранда подбежала и пристроилась рядом. Я медленно поднялся, оглядел зал, поманил пальцем человека в жилетке. Он мигом подскочил.

— Этой заказ. И этой заказ.

— *Хай*! Четыре тысячи иен.

Я ткнул пальцем в Сабину.

— И этой тоже заказ.

— *Хай*! Шесть тысяч иен.

Освободясь от лишних бумажек, я опустился в кресло и взял стакан.

— За щедрость! — сказала Моника. — За широкую, блин, русскую душу!

— Ура-а-а!!!... За щедрость!!!... За душу!!!...

Я вернул пустой стакан на стол и засунул в рот кусок пиццы. В следующую секунду, как танк над окопом, надо мной навис бюст Памелы.

— Караоке простаивает. Споешь?

— Спою.

— Что споешь?

— Оперу спою.

— Оперы нет.

— Тогда не спою. Хочешь заказ?

— Хочу.

— Этой тоже заказ!!!

— *Хай*! Простите, у вас время вышло. Будете продлевать?

— Буду.

— Еще полчаса — две тысячи иен. С заказом — четыре тысячи иен.

— Держи.

— Ну чего? Раскочегарился? Башляешь?

— И этой тоже заказ!!!

— *Хай*! Еще две тысячи иен.

— Вообще всем заказ! Кто тут у вас есть? Всем заказ!!!
— Будет исполнено! Одну минуту... Двенадцать тысяч иен.
— На.
— Это десять тысяч. Нужно еще две.
— Погоди... Больше нету. Всем заказ минус одна.
— Кто «одна»?
— Не знаю. Минус кто-нибудь. Кто у вас остался?
— Роза, Анжелика, Барби, Виолетта... Но они заняты...
— Да, да, вот им всем заказ. Ничего, что заняты. Кто еще?
— Все, больше нельзя. У вас полчаса. Отдыхайте, пожалуйста.

В полчаса уместилось многое. Трогательные брудершафты, разбитые стаканы, бородатые анекдоты, дурацкий смех, очередная бутылка, удивленный Дзюнтаро с кассетой, камни, ножницы, бумага, много чего другого, обреченного на ретроградную амнезию, а в довершение всего — прямо перед глазами — белая табличка с красными иероглифами: «*Не бросайте в писсуар окурки, мусор и др.*»

Иероглиф «*и др.*» располагался по центру и был сильно засижен мухами.

Кто-то потеребил меня за правый локоть.
— Хорошие девочки, да?
— Ага...
— Примите мою визитную карточку.
— Угу...
— Я здесь часто бываю. Мы с вами еще встретимся.
— Ммм...

Зашумел слив. На выходе меня поджидал человек в жилетке.
— Простите, у вас опять время вышло. Будете продлевать?
— Буду...
— Две тысячи иен.
— В смысле не буду... Выход где?

Заказанные мною вышли меня проводить. Схватившись за перила на краю площадки, я посмотрел в черное небо, глотнул трезвящего ночного воздуха и оглянулся. Они стояли у дверей, выстроившись в шеренгу. У меня зарябило в глазах и засвербило в глотке.

— Сейчас спою, — сказал я.

Они молчали.

— Сейчас точно спою! — повторил я и развернулся к перилам. Внизу тянулась улица Накабяку, вдали мигали желтым светофоры, город спал.

— Пой! — послышалось сзади. — Спивай, хлопче!

И я запел.

* * *

Персидские, сиамские, ангорские, абиссинские, бенгальские, бомбейские, египетские, сомалийские и еще бог знает какие кошки всю ночь тусовались у меня во рту. Под утро к ним присоединились росомахи, скунсы, бурундуки, еноты, опоссумы, мускусные крысы, хорьки и прочая сволочь, налакавшаяся сивушных масел из химического состава водки Suntory. Когда я открыл глаза, сволочь ичезла, оставив после себя нечто неописуемое. Во рту это «нечто» даже не поместилось, расползлось по всей голове и остальному организму, забило извилины и сосуды, натолкалось в суставы и позвонки, обволокло потроха и сдавило душу.

С матраса я сполз на татами, уронил голову на пахучие соломенные рубчики и лежал так минут двадцать. Потом медленно поднялся на четвереньки и еще медленнее — на ноги. Квартира вокруг была моя.

Час я истязал себя под душем, час отлеживался, час снова истязал, пил слабый чай, проветривал голову на балконе, зарывался головой в подушки, сидел в позе лотоса, опять шел под душ, опять падал на матрас, опять пил слабый чай — и к середине дня почувствовал, что скоро начну оживать.

Зазвонил телефон.

— Привет, — сказал женский голос. — Это Люся.

— Ага... — сказал я. — То есть, нет, не понял... Какая Люся?

— Ты что, не помнишь? Ты вчера всех заказал, а меня не заказал. Дал телефон, сказал «звони». Вот я и звоню. Ты чё делаешь сегодня?

— Гоню похмелье...

— А потом?

— Еще не знаю.

— А когда повезешь меня на ирисы смотреть?

— Куда смотреть?

— На ирисы! Обещал вчера. Забыл?

— Почему забыл... Не забыл...

— Когда повезешь?

— А когда лучше?

— Прямо сейчас. У меня *дэйто* отменилось.

— Чего отменилось?

— Ну, свидание! С кексом. Позвонил, говорит: «не могу». До вечера свободна. Поехали, ты обещал.

— Ну хорошо, поехали...

— Через десять минут у Макдональдса. Жду.

На пятом коротком гудке я вспомнил, что ирисы расцветут через месяц. В парке у святилища Тораэмон цветение ирисов отмечалось ежегодным праздником, и случалось это всегда в начале июня. В мае цвели фиалки, пионы, рододендроны, камелии, левкои, пастушьи сумки, жимолости — а ирисы даже не думали цвести, только собирались. И я должен был их показывать какой-то неведомой Люсе.

К стене Макдональдса прилепился автомат с напитками. Купив банку холодного гречневого чая, я присел на капот своей «Хонды», откупорил, сделал глоток, зажмурился...

— Привет!

Люся стояла передо мной, кокетливо склонив голову набок. Я напряг память, пытаясь соотнести эту картинку с ночными впечатлениями. Ничего не получалось. Джинсы, серая куртка, волосы убраны в хвостик, никакой косметики. Если я и видел ее накануне, то в другом обличьи.

— Как здоровье?

— Спасибо, лучше.

— Учудил ты вчера, конечно.

— Чего я учудил?

— Не помнишь?

— Нет...

— Оперу ты вчера пел! У нас у всех уши заложило.

— Подумаешь, оперу... А какую оперу? «Евгения Онегина» или «Хованщину»?

— «Супружество нам будет мукой» — это что?

— «Евгений Онегин».

— Ну так мы едем?

— Залезай.

Я сел, поставил чай в специальную держалку, пристегнулся, вырулил на шоссе и взял курс на святилище.

— Это далеко? — спросила Люся. — К шести вернемся?

— Вернемся.

— Мне опаздывать нельзя. В полседьмого уже на работу везут. А до того душ, макияж, одеться...

— Тяжело вам.

— Что делать... Зато деньги.

— Большие?

— Ну как... В самом клубе не очень большие. Если танцуешь или заказов много, еще ничего. Заказ пополам делится — сэнка тебе, сэнка заведению. Но основные деньги идут с *дэйтов*.

— Со свиданий?

— Ага. Если правильного кекса подобрать, то заработать можно очень хорошо.

— Как это «правильного»?

— Ну, с деньгами! Это ведь не так просто — распознать денежного кекса. Многие не умеют. Скажем, думают: вот, с мобилой пришел, значит богатый. А на самом деле все наоборот — с мобилами в кабаки только шестерки ходят. Которым могут позвонить и на работу вызвать. Богатые ходят без мобил. А самые богатые — даже без часов. Я всегда на руки смотрю: если часов нет — значит, очень хороший кекс, состоятельный. Но это редко.

— Ну ладно, а дальше?

— Дальше техника. Ты должна перед ним мелькать, но ненавязчиво. Как будто тебя все типа заказывают, рвут на части и тебе не до него. И он потихоньку начинает думать: а чё это, собственно?

— И делает заказ.

— Сначала может и не сделать. Может сам подсесть, если там у него знакомые. Или нас к нему могут без заказа подсадить, если он большая шишка. Ты ему тонко намекаешь. И если он заказа не делает, сажаешь его на мороз.

— Это как?

— А вот так! — Люся сложила на груди руки, вздернула подбородок и уставилась куда-то в сторону. — Типа знать тебя не желаю и общаться не буду. Если он десять минут на морозе сидит и в ус не дует, значит это жмот, нечего с ним и возиться. А если не выдерживает и делает заказ, то можно раскручивать дальше.

Вдоль дороги тянулись свежезасеянные поля. Тут и там виднелись согбенные крестьяне с ящиками рисовой рассады на поясе. Разгребая воду резиновыми сапогами, они втыкали рассаду в те редкие места, где оплошала сеялка.

— Когда он тебе первый раз назначает *дэйто*, — продолжала Люся, — нужно отказать. Резко и жестко. Он должен испытать шок. Когда назначает второй раз — тоже отказать. Только чуть помягче, чтобы всю надежду не угробить. Третий раз — нехотя согласиться. Типа, ладно, уговорил. Ни в коем случае не проявлять никаких эмоций. Далее: на первое *дэйто* приходить нельзя. Пусть ждет и обломится. Причину потом придумать. На второе можно прийти, но с приличным опозданием. И не задерживаться. Подарок взять, и домой. А вот на третье назначенное *дэйто* можно приходить вовремя и надолго, потому что к этому времени кекс уже с гарантией дозревает до нужной кондиции.

Люся вдруг спохватилась:

— Слушай, я все треплюсь, треплюсь... А тебе это интересно?

— Конечно, — кивнул я. — Совершенно новый срез бытия. Ни разу не сталкивался.

— Ха! — оживилась Люся. — Это же психология! Тут понимать надо.

— И что происходит дальше?

— Дальше самое интересное. Кекс ведет тебя в ресторан, показывает, какой он крутой. Здесь, в принципе, можно еще немного покукситься. Даже нужно. Потом шопинг. Он тебя одевает с головы до ног, увешивает драгоценностями, дарит кучу разных мелочей. Можно вспомнить про родственников, им чего-нибудь купить, друзьям там всяким... Денег, конечно, тоже должен дать. Наличных. Если не дает, намекнуть: вот, мол, в Токио видела кофточку за пару *манок*, в воскресенье оказия, хорошо бы привезти. Хотя, как правило, дают и без намеков. И наконец, кекс грузит все в машину, сажает тебя — и везет.

— Куда везет?

— Вот именно. Куда везет? Этот вопрос ты ему и задаешь: а куда это, милый друг, ты меня повез? Он смущается, краснеет, бледнеет, набирается духу и выдавливает: мол, сейчас мы поедем в лав-отель.

— Бедняга...

— И тут ты закатываешь ему сцену. Как ты мог подумать! Как ты мог, японская твоя морда, хоть на секунду такое допустить! За кого ты, паразит косоглазый, меня принимаешь? Чтобы честная девушка продавалась за тряпки? Он, понятное дело, мигом скукоживается, делается притихший, отвозит тебя домой, помогает отнести покупки, долго извиняется, еще денег дает и просит не рвать с ним отношений.

— Боже, — вздохнул я. — Как это жестоко!..

— Это еще ерунда! — сказала Люся. — У нас Каролина одному кексу всю рожу ногтями расцарапала, когда он ее поцеловать хотел. Жалела потом, думала, больше не придет. Ничего подобного — пришел, каялся и кучу денег дал.

— Обалдеть можно, — сказал я. — По-моему, вы работаете не под той вывеской. Что значит «Винус»? При чем здесь вообще Венера? Ваше заведение правильнее было бы назвать «Динамо (Киев)». И поставить на входе статую Блохина.

— А чё это? — удивилась Люся. — Ты нас типа осуждаешь?

— Нет, почему... Уж лучше так, чем проституцией.

— Ха! Ну ты сказанул! Разве проституцией можно столько заработать?

— Нельзя?

— Дохлый номер. Которые здесь на это пускаются — просто дуры. Считать не умеют. Или характера нет. У нас были такие девчонки: кекс покажет им четыре *манки*, у них глаза загорятся — и на все согласны. А что потом? Подсядет к этому же кексу или к его знакомому, попросит заказ — а он ей: «гоу эвэй, бич»! Там ведь тоже свое сарафанное радио, все про всех становится известно. Вот и сидит потом, как дурочка, без заказов, без дэйтов, на одной зарплате. А если до полиции слух дойдет, сразу уволят, и бай-бай.

— Значит, динамить выгоднее?

— Никакого сравнения просто.

— Страна чудес, — сказал я. — Сколько здесь живу, не перестаю удивляться. Где еще в мире такое возможно? Нигде, только в Японии.

— В Японии тоже не везде! Токийских девчонок послушаешь, так у них не так. Столичный кекс ушлый, себе на уме, его развести — попотеть надо. Под столичных и ложиться иной раз приходится. А тут у нас тишь, глухомань, кекс дремучий, непуганый, такого только и динамить.

Поля кончились. Шоссе попетляло меж холмов и нырнуло в длинный тоннель.

— Можно еще волосами торговать, — продолжала Люся. — У нас блондинки крашеные, но это секрет, для кексов мы все натуральные. Бывает, отстрижешь волосину и продашь за сэнку. Типа сувенир. А один раз я целую манку заработала. Сейчас расскажу, ты со смеху помрешь. Кекс спрашивает: вот на голове у тебя белые волосы, а какого цвета *там*? Я говорю: зеленого. Как, удивляется, почему зеленого? Чернобыль, отвечаю, мутация! Ух ты, говорит, хочу посмотреть. Щас, говорю, погоди. Иду в гримерку, там хвост висит, с которым Моника выступает. Отрезаю от него зеленую волосину и приношу. Покупай, говорю, десять тыщ стоит. Купил.

— Что ж он, не видел, чего берет?

— Темно, пьяный... Хотя им и трезвым можно что угодно впаривать. Очень легковерный народ.

Тоннель остался позади. Нас опять обступили лесистые холмы. Некоторое время мы ехали молча.

— Все должно как-то объясняться, — сказал я. — Мне вот что подумалось. На самом деле, такой феномен просто обязан был здесь прижиться. Традиции вполне располагают. Возьмем институт гейш. Такая же покупка женского общества — причем, без иллюзий по поводу близости. Клиент платит немалые деньги, чтобы побеседовать, пофлиртовать, насладиться тонкой игрой двух умов — и заранее знает, что до койки дело не дойдет.

— А наш клиент, — сказала Люся, — платит немалые деньги, чтобы поглазеть на голые титьки. И по возможности их полапать. Вот на что хватает тонкой игры ихних умов.

— Ну так ведь и вы не гейши! Настоящая гейша должна слагать трехстишия, играть на сямисэне, грамотно заваривать чай. Их по многу лет учат. А если уметь только грудь оголять, то чего ждать в ответ?

— Что значит «уметь только оголять»? Ты видел, как я танцую? Я бальными танцами с пяти лет занимаюсь! Я на конкурсах выступала! Но здесь это никто не оценит, здесь титьку показывай, и всё. Это не мы дуры, это публика убогая.

— Видишь ли, — сказал я, — у вас собирается специфический контингент. По нему ни о чем нельзя судить.

— Да прям! Ты знаешь, сколько таких клубов сейчас в Японии? Если открыли даже в этой дыре — сколько их тогда в Токио? Можешь представить, какая прорва наших здесь работает? Скоро не останется ни одной украинской девки, которая не съездила бы в Японию. Гигантский спрос! Нет тут ничего специфического, просто таков японский мужик — закомплексованный и похотливый. Ты говоришь: игра умов. Кабы они хотели наслаждаться игрой умов, так и наслаждались бы на родном языке, со своими тетками. А если я по-японски двух слов связать не могу — какая тут игра, каких умов?

Крыть было нечем.

— Кстати, знаешь, какие деньги наши девчонки привозили семь-восемь лет назад, когда этот бизнес начинался? Только за то, чтобы ты пошла с кексом на какую-нибудь пьянку, отваливали по десять манок! Тыщу баксов по тогдашнему курсу. Это только за то, что сослуживцы увидят его в обществе белой женщины, больше ни за что. Вот и скажи теперь: уважают они сами себя, или как?

— Ну хорошо, а вот ты уважаешь сама себя?

— А я-то при чем?

— Ладно... Приехали.

Перед нами лежала гравийная стоянка, за которой возвышались красные деревянные ворота с двумя перекладинами. Я припарковался. Мы вылезли.

— Где твои ирисы? — спросила Люся.

— В парке, — ответил я. — Только они еще не расцвели. Это будет через месяц.

— Зачем же ты меня сюда привез?

— Просто походим. Здесь и без ирисов хорошо.

За воротами находился павильон для омовений рук и ополаскиваний ртов. Бронзовый дракончик, грустно закатив глаза, выпускал из пасти струйку воды. Я жадно выпил четыре ковшика. Люся сделала два глотка.

— Удивительно, — сказал я. — Вы правда такие все устойчивые к алкоголю? Каждую ночь пьете, как лошади, а с похмелья не мучаетесь?

— Да ты что, — усмехнулась Люся. — Достаточно, чтобы кексам так казалось, иначе бы мы все давно спились. Налить воды вместо виски несложно. Конечно, не всегда получается — то кекс норовит сам подлить, то всё слишком на виду. А иной раз так достанут, что и самой захочется. Но все-таки с утра обычно дэйты, надо быть в форме.

— Погоди... А эти вчера меня тоже дурили, что ли?

— Возможно. Ты ж пойми, у нас рефлекс: пришел кекс, его надо напоить, а самой не напиться. На автомате действуешь.

В сумочке у нее запищало. Она вынула мобильный телефон:

— *Моси-моси*! Хелоу! Из ыт ю?.. Йес-йес!.. Ноу-ноу!.. Ай сэд ноу!.. Нау? Элоун. Оунли ван. Оунли ми... *Хонто-хонто*... Ноу-ноу, тудэй *дамэ*! Ай эм бизи *да кара*. Си ю лэйта. Бай-бай.

Она выключила телефон и вздохнула:

— Жених...

— Какой еще жених?

— Ну, это так говорится. Есть просто кексы, а есть женихи. В принципе, бывают еще бойфренды, но про них отдельный разговор. А женихи — это которые жениться хотят. С ними нужна особая стратегия. Жениха надо все время разруливать с кексами, чтоб он с крючка не сошел. Скажем, у Каролины всегда два жениха и что-то около десяти кексов. Прикинь, каково ей крутиться!

— А бойфрендов сколько у Каролины?

— Бойфренд всегда один. Это же бойфренд! Но бойфренды мало у кого. Они невыгодные. А вот жених — это золотое дно, его динамить можно долго-долго. Хотя там тоже свои тонкости. Я со своим вконец замучилась. Звонит и звонит, ни минуты покоя... А куда мы дальше пойдем?

— Туда, к ирисам...

Ирисовая плантация была укрыта полиэтиленом. Строгие ряды остролистных кустиков послушно торчали из круглых дырок. Многие уже выпустили стрелки.

— Вот, — сказал я. — Скоро распустятся. Тогда повалит народ, и здесь будет не протолкнуться. А пока даже в субботу никого нет.

Мимо пронесся пацан лет десяти, держа что-то в руках. Оглянулся, тормознул и подбежал к нам.

— Глядите!

В его протянутой руке шевелилась маленькая черепашка. Она неуклюже сучила всеми четырьмя лапками и разевала рот с единственным зубом. Пацан поднял с земли прутик и сунул ей между челюстей. Прутик хрустнул и распался надвое.

— Где взял? — поинтересовался я.

— В пруду поймал. Вон там. Ну ладно, бай-бай!

— Здесь еще и пруд? — проводив пацана взглядом, спросила Люся.

— Конечно. Что за парк без пруда?

Пруд напоминал своей формой неправильный бублик, извилистый и вытянутый. На остров, игравший роль дырки от бублика, были перекинуты два красных горбатых мостика. Мы взошли на один и облокотились на перила.

— Рыбы... — задумчиво сказала Люся, глядя в воду.

— Карпы, — пояснил я. — Символ богатства.

— Разноцветные... Красиво... А что они тут едят?

— Они едят специальный корм. Которым ты их можешь угостить. Если хочешь.

— Хочу!

Расфасованный в пакетики корм продавался у входа на мостик. Продавца заменял деревянный ящичек с прорезью и картонка с надписью «Корм для карпов, 100 иен». Я заплатил, взял пакетик и вручил Люсе. Самый наблюдательный карп уже подплыл к мостику и внимательно отслеживал наши действия. Люся извлекла из пакетика первую горошину зеленовато-бурого цвета и прицельным броском отправила ему в морду.

Карп взметнулся, изогнулся, распахнул рот, ударил по воде хвостом, нырнул, вынырнул, выпучил глаза — и тут же с ближних и дальних концов пруда на запах корма устремились его собратья. За считаные секунды вода под мостом вскипела рыбьими телами. Желтые, серые, белые, красные, блестящие, жирные, жадные, они заклокотали под нами, как на адской сковороде. Обезумевшие рыбы терлись друг о дружку чешуей, вытягивали рты в хоботы, хватали воздух, проваливались вниз, проталкивались вверх, теряли ориентацию, панически трепыхались — воды под этой бурлящей биомассой было уже не разглядеть. Звуков никаких не было, но казалось, стоит дикий шум. Умей рыбы кричать — мы бы точно оглохли.

Жрать, жрать, жрать, жрать, жрать!!! Драться за кусок, клянчить кусок, ловить кусок, глотать кусок, прыгать выше, бить хвостом, тянуть рот, толкать соседа, кусать соседа, топить соседа, мочить соседа, хватать свое, отбирать свое, не упускать свое, приумножать свое, быть на пиру протоплазмы первым — вот задача и вот цель!!!

Я заметил, что Люся перестала бросать корм и неподвижно стоит с гримасой отвращения на лице. Взяв пакетик из ее рук, я зачерпнул горсть горошин и швырнул карпам добавки.

— Противно! — сказала Люся. — Это не рыбы, это свиньи какие-то...

— Отчего же? — Я бросил еще. — Ты только погляди на их грудные плавники! Какие они большие и круглые, как они топорщатся! Где ты еще такое увидишь?

Люся молча повернулась и зашагала прочь. Я высыпал из пакета остатки, сунул смятый пакет в карман и двинулся следом. Метров тридцать она не оборачивалась. Потом села на скамейку у самой воды.

— Ну и зачем? — спросила она. — Зачем держать здесь этих уродов? Да еще в таком количестве. Это что, правда красиво?

— Меня тоже такие мысли мучали, — сказал я, присаживаясь рядом. — Могу предложить две гипотезы.

— Какие?

— Гипотеза первая. Униженный и забитый клерк при помощи этих рыб может ощутить себя маленьким наполеоном, вершителем рыбьих судеб — и частично утолить свои комплексы.

— Правдоподобно...

— И гипотеза номер два. Эти рыбы — наглядная модель суетного мира. Их разводят здесь специально, чтобы посетители упражнялись в *недеянии*. Есть такое понятие в буддизме. То есть: не хочешь безобразия — не корми. *Не делай.*

— Нет, это очень сложно, — сказала Люся. — Это ты перемудрил. Буддизм приплел какой-то...

— А что такого? Почему бы иногда не вспомнить о буддизме?

Люся пристально посмотрела на меня и хмыкнула.

— А знаешь, — сказала она, — что я про тебя первый раз подумала? Ну, когда ты ночью оперу запел.

— Что?

— Только без обид, ладно?

— Да какие обиды...

— Я подумала: ну вот, довели русского мужика косоглазые сволочи. Совсем крыша уехала. А теперь гляжу: вроде ничего, нормальный... Даже интересный.

— Стараюсь...

— А вот с кексами скучно. Они похотливые, скебешные, у них одно на уме.

— Ты ведь говорила, что некоторые жениться хотят?

— А жениться-то они, думаешь, зачем хотят? За тем же самым. Белую бабу хотят. Все они скебешные, что ты мне будешь рассказывать...

Запищала трубка.

— Тьфу ты, зараза, — сказала Люся и отключила у трубки питание.

— Правильно, — сказал я. — Пусть твой жених отдохнет. И даст нам спокойно исполнить религиозный обряд.

— Обряд?

— Мы в святилище. Мы должны пообщаться с богами.

— А как с ними общаться?

— Проще всего написать записку. Вон висят, видишь?

Возле главного павильона виднелся длинный стенд, весь увешанный деревянными дощечками. Дощечки были испещрены надписями. Мы подошли поближе, и я зачитал несколько вслух:

— «Поступить в университет»... «Чтобы все были здоровы»... «Поступить в университет»... «Поступить в университет»... «Купить собственный дом»... «Поступить в университет»... «Вылечить плечо»... «Стать знаменитым артистом»... «Стать знаменитым сумоистом»... «Поступить в университет»...

Люся внимательно слушала.

— Видишь, как все элементарно? — сказал я. — Покупаешь в ларьке дощечку и пишешь желание. Скажем: «кинуть тысячу кексов». Или: «надинамить миллион». Или там: «догнать и перегнать Каролину». Просто пишешь и вешаешь. Боги потом соберутся на совет и рассмотрят.

— Они ведь не наши боги, — сказала Люся. — Я даже не знаю, как их зовут. Что это вообще такое? Буддизм?

— Синтоизм. Японское язычество.

— А ты что ли, этот самый?.. Синтоист?

— Видишь ли, — сказал я, — такого слова, как «синтоист», не существует. И в японском языке, и в русском оно лишено всякого смысла. Это не та религия, которую можно исповедовать или не исповедовать. Просто есть боги, которых надо ублажать. А веришь ты в них или не веришь — это им до фонаря.

— Но боги-то японские?

— Конечно.

— Вот видишь. А я сейчас возьму и напишу: мол, хочу всех ваших японцев опустить на бабки. Что они тогда со мной сделают?

— Об этом я не подумал.

— Пойдем-ка лучше отсюда.

— Нет, погоди. Мы должны ударить в гонг. Держи пятачок и делай, как я.

Подведя Люсю к главному павильону и поднявшись с ней по ступенькам, я бросил свои дырявые пять иен в ящик для пожертвований, взялся за висящий канат, размахнулся и с силой ударил. Густой медный гул звонко прорезали два моих хлопка. Секунд пять я стоял со сложенными ладонями.

— Ну-ка, дай! — Люся схватилась за канат и тоже врезала по гонгу.

— Пятачок! — поспешил напомнить я.

— А, да... — Люся кинула пятачок в ящик.

— Два хлопка!

Люся послушно хлопнула раз, хлопнула другой, потом зачем-то третий — и неожиданно застыла в молитвенной позе. Прошло с полминуты. Она все стояла, закрыв глаза и беззвучно шевеля губами. Я отошел в сторону, чтобы не мешать.

Время шло. Украинская девушка по имени Люся молилась японским богам. О чем — знали только она и боги.

* * *

Перекусив в маленькой лапшевне, мы поспешили назад. Всю обратную дорогу Люся дремала, откинувшись на спинку сидения. Без четверти шесть я доставил ее к дверям дома — он стоял в ста метрах от Макдональдса. Все одиннадцать девиц жили в пятикомнатной квартире на первом этаже. Войдя туда вслед за Люсей, я попал в обширную кухню. У захламленного стола сидела Моника в драном халате, дымила сигаретой и тасовала колоду карт.

— Привет, Шаляпин! — сказала она. — Будешь в очко играть на щелбаны? Люська, в душ за мной занимай. Я за Памелкой.

— Ладно, — сказал я. — Не буду вас смущать. Мойтесь, трудитесь.

— Спасибо за экскурсию, — сказала Люся. — Я тебе как-нибудь еще позвоню.

— Звони.

— Ха, — ухмыльнулась Моника. — Попал ты, Шаляпин!..

У моего дома меня встретил Федька Репейников. Пока я парковал машину, он топтался рядом с недовольным лицом и яростно тряс какой-то бумажкой. Когда же я наконец вылез, гневно затараторил:

— Нет, ты почитай! Ты вникни! Они готовы все распродать, эти ублюдки. Свое, не свое, исконное, не исконное — им без разницы. Лишь бы побольше загнать, лишь бы нахапать!

Бумажка оказалась распечаткой интернетовских новостей. Я прочитал:

```
Сегодня в Москву возвратилась российская правительственная
делегация, посетившая Токио для встреч с представителями
японского кабинета и деловых кругов. Итогом трехдневных
консультаций явилось соглашение о предоставлении Японией
долгосрочного кредита для реструктуризации российского
внешнего долга. Российские политики, со своей стороны,
обещали приложить максимум усилий для скорейшего разрешения
территориальной проблемы. (ИТАР-ТАСС)
```

— Пидарасы! — крикнул Федька. — Политические проститутки!

— Господь с тобою, Федор, — сказал я. — Какие ж это проститутки? Это политические динамовцы. Проституцией они и близко столько не заработают. Успокойся, все будет хорошо.

— Точно? — недоверчиво спросил Федька, пряча бумажку в карман.

— Как пить дать.
— Ну, смотри... Кстати, раз уж о проституции зашла речь. По агентурным данным, в городе функционирует притон, где стриптизят русские девки. И не только стриптизят.
— Неужели?
— Абсолютно точно. Ты не слышал?
— О русских девках не слышал. О филиппинских слышал, еще о всяких других слышал — но не о русских.
— У меня Танька только через неделю вернется. Может, походим, поищем? Я не знаю, где это конкретно, а ты говорить умеешь. Язык до Киева доведет.
— Зачем тебе до Киева?
— Ты не подумай чего. Я человек серьезный. Просто интересно взглянуть, как они тут устроились. Посоветовать чего, помочь. А там видно будет.
— Не факт, что найдем. И не факт, что пустят. К тому же, такие заведения часто лежат под якудзой. Потом сам будешь не рад, что связался.
— С тобой всегда так. Никакого энтузиазма. Ладно, пошли кино смотреть.
— «Полицейская академия четыре»?
— Нет, «Эммануэль пять».
— Извини, Федор, не могу. Дела.
— Э-э -э- э-э... — Федька скривился, махнул рукой и грустно побрел вдоль невысокой бамбуковой ограды, давя ботинками случайных кузнечиков, цепляясь локтем за кусты китайской розы и гоня из ноздрей дразнящие запахи поздней весны.

* * *

Люся позвонила через три дня. Я сидел в своем кабинете за компьютером.
— Привет, — сказала она. — У меня опять *дэйто* отменилось. Можем вместе пообедать.
— Только что обедал.
— Тогда кофе попьем. Ну давай! Я в бассейне, возле гимназии, напротив костёла.
— Стоп-стоп-стоп, — сказал я. — Какой еще гимназии? И какого костёла?
— Там написано: «гимназиум».
— Это значит «спортивный зал».
— Допустим. Но костёл-то ты должен знать, его все знают!
— Какой костёл? Откуда тут костёл?
— Ну, «кастл» — знаешь?
— Замок, что ли?
— Может, и замок... Ну, ты понял, где это?..
Призамковый ров зеленел ряской. На стоянке спортклуба места не нашлось, и я припарковался на краю рва. Запер машину, пересек проезжую часть, подошел к зданию бассейна. Люся с распущенными влажными волосами сидела на скамейке.
— Как поплавалось?
— Замечательно. Ты ж понимаешь, нам все равно пить приходится ежедневно, как ни хитри. Поплаваешь — хоть немножко здоровья вернешь. А тут и сауна есть, вообще хорошо.

— Проголодалась?

— Не очень. Здесь кофейня рядом...

Со второго этажа кофейни открывался дивный вид на многоярусную замковую башню с загнутыми черепичными скатами. Мы сели у окна, заказали по чашке капучино.

— А я думала, это костёл, — задумчиво сказала Люся, глядя сквозь стекло.

— У тебя неправильные кексы. Совсем не показывают тебе Японию.

— Нет, водили как-то... Только я не врубилась, что это замок. А так конечно... Рестораны, магазины... Ну так мы ведь и не туристы, мы работать приехали.

Принесли кофе. Люся вынула из чашки палочку корицы, сняла с нее языком пузырчатую пенку.

— А знаешь, у нас в «Винусе» скоро шест поставят!

— Шест?

— Не видел, как у шеста танцуют?

— В кино видел.

— Теперь в натуре увидишь! Я пока из принципа не танцую, а как шест поставят, сразу начну. Я в Киеве только на шесте работала. Знаешь, какой кайф!

— А в чем кайф?

— О-о-о-о! Ты не понимаешь! Там столько трюков! Это такая акробатика! Если еще музыку грамотно подобрать, то вообще! Представь: сначала всё так медленно, спокойно, никто ничего не ждет... А потом гитара как взвоет! А ты как закрутишься! Просто конец света. Тэнчик обещает в июне сделать.

— Кто обещает?

— Тэнчик. Ну, директор. По-японски «тэнчо», так мы его тэнчиком зовем. Он у нас хороший. Все понимает. Говорит: девчонки, не стройте иллюзий, вы здесь как обезьяны в зоопарке. И смотреть на вас ходят тоже обезьяны. Так свою работу и воспринимайте. Потому что всерьез ее воспринимать — это чокнешься.

— Мудрый человек.

— Ну правильно же? Крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом, а мы работаем белыми девками. Что такого? Я раньше бухгалтером была в одной конторе — десять начальников, сто проверяющих, денег никаких... Как вспомню, так мутит. Уж лучше здесь. Сейчас доработаю свои полгода, дома немного отдохну — и опять в Японию. Заказов много набираю, должны точно взять.

— Это от заказов зависит?

— Ну, естественно. Все записывается, все учитывается. У Синди заказов много, так ей прямо здесь контракт продлевают. И Барби тоже...

— Откуда такие имена: Синди, Барби?..

— Это не имена, это клички. Сценические псевдонимы. Чтоб японцам было легче выговаривать. И чтоб нам самим друг друга различать. А то у нас пять Светок, три Оксаны, две Наташки... Одна только я Люся.

— Игра по схеме «три-пять-два».

— Ага. И еще чтоб красивее было. «Светлана» на японское ухо — не круто. Вот «Барби» — круто. А «Оксана» по-японски, сам понимаешь, звучит как «окусан», то есть «жена», и это уже вообще никуда не годится.

— А у тебя псевдоним есть?

— Есть. Рита.
— Не понял. Была Люся, стала Рита? Шило на мыло какое-то.
— Кексы говорят: красиво звучит.
— Черт знает что. Лучше знаешь, какой псевдоним возьми?
— Какой?
— Пенелопа.
— Почему Пенелопа?
— Потому что Пенелопа, согласно Гомеру, продинамила целую кучу женихов.
— Да, я помню. А потом пришел Одиссей и всех замочил.
— И лишил Пенелопу заработка.
— Ха!.. Ну ты прикольщик!..
Запищала трубка.
— *Моси-моси*! — сказала Люся. — Хелоу!.. Йес... Йес... Ноу... Ин ван плэйс... Элоун... Оунли ми... *Хонто*... Ай сэд *хонто*!.. Ноу... Ноу... Ай сэд ноу!.. *Хонто*... Йес... Окей... Бай-бай.
Вернув трубку в сумочку, она тяжело вздохнула.
— Господи, что мне с ним делать...
— Жених? Все тот же?
Она покивала и некоторое время сидела молча, гоняя кончиком ложки кофейнопенистые волны. Я повернул голову к окну и следил, как на черепичных башенных скатах играют солнечные блики, а на самой крыше тянут изогнутые хвосты два мифических дельфина.
— Ты знаешь, — произнесла Люся, кладя ложку на блюдце, — я последнее время замечаю за собой странную вещь.
— Какую?
— Иногда чувствую, что мне его жалко.
— Да уж... — сказал я. — Какая-то совершенно внеэкономическая категория. «Жалко»... Абсолютно непроизводственный термин. По какой статье будем проводить? Что говорит по этому поводу теория бухгалтерского учета?
— Ты понимаешь, обычный жених так долго не выдерживает. Когда видит, что ничего не светит, переключается на других девок или вообще пропадает. А этот...
— Влюбился?
— Даже не знаю... Как они, такие скебешные, могут влюбляться? Тут другое слово нужно.
— Зациклился? Заклинился? Запал? Подсел? Подвис?
— Да, вот что-то такое... Ну сам посуди: приходит чуть ли не каждый день, с девяти до трех ночи, и на все это время делает мне заказ. Считай: четыре сэнки плюс две, и все это на шесть часов — получается тридцать шесть тыщ за вечер. Умножь на тридцать дней — миллион! Откуда деньги?
— Может, он якудза?
— Кто, этот очкарик? Он инженер какой-то. Что-то там чертит, я не вникала...
— В серьезной компании могут хорошо платить.
— Да, он говорил, что сделал изобретение и его наградили. Ну и потратил бы с умом! Так нет же, будет каждый вечер на голые титьки пялиться и канючить: «Ай вонт ю!»...

«Плиз би май вайф!»... Придурок...

— Значит, жалко?

— Ну да! Ты не поверишь: я его один раз даже поцеловала!

— Не может быть.

— Я тебе говорю! Просто подумала: ну совсем же измучился парень, надо хоть чем-нибудь порадовать. Выпила побольше водки, собралась с духом... Блин, чуть не стошнило. Они вообще целоваться не умеют!

— Кто?

— Японцы!

— Ну, может не все? Может, другие-то умеют?

— Да прям! Девчонки про своих кексов то же самое рассказывают. Они все какие-то богом ушибленные. Мне его жалко, а что я могу? Первый раз сказала: мол, я тебя еще плохо знаю, мы мало встречались, вот встретимся сто раз, тогда сможем стать ближе. Я им это всем говорю — я ж не знала, что он считать начнет. Приходит потом, довольный, рот до ушей — вот, говорит, сегодня ровно сто раз. Что делать? Говорю: это, мол, были слишком короткие встречи, ты должен в общей совокупности пробыть со мной пятьсот часов. Типа в шутку сказала, чтоб отвязался, — а он понял буквально и теперь стаж насиживает.

— Когда насидит пятьсот часов, расскажи ему про пуд соли.

— Нельзя. Отравится. Почки угробит.

— Тогда скажи открытым текстом: «Чувак, извини, ты не в моем вкусе».

— Уже язык не повернется. Он столько денег на меня потратил... Ладно, контракта осталось два месяца, как-нибудь дотяну... Слушай, вот теперь я точно проголодалась. Отвези-ка меня к Макдональдсу.

Мы вышли из кофейни, добрели до машины, остановились у самого рва.

— Видишь листья на воде? — спросил я. — Круглые, большие. Это лотосы. Они тоже скоро зацветут.

— Откуда ты все знаешь? — удивилась Люся. — Ирисы, лотосы...

— Все люди разные, — сказал я. — Кто любит смотреть на голые титьки, а кто на цветы.

— Да уж, — вздохнула Люся и взяла меня за руку. — На нашей работе умом тронешься. Забудешь, что есть на свете нормальные мужики. И когда появляется нормальный, вменяемый, совсем не скебешный — то уже и счастью своему не веришь.

Тут она с какой-то тревогой вгляделась в меня и спросила:

— А тебя правда *это дело* вообще не интересует?

Я думал долго. Секунды четыре. Потом со всей решительностью ответил:

— Правда.

— Ой, какой ты классный! — выдохнула Люся и сильнее прижалась ко мне. — А ты знаешь, мне уже все девчонки завидуют. Даже Каролина...

Когда мимо проплывало длинное здание краеведческого музея, Люся сладко потянулась и мечтательно произнесла:

— Нет, ну как я все-таки хочу на шест! Ой, мамочки мои дорогие, как я хочу на шест!..

* * *

Макдональдс встретил нас бесчисленными плакатами и флажками с художественными изображениями гамбургеров. Мы вышли из машины.

— Слюнки текут, — сказала Люся. — Неужели не хочешь?

— Нет, благодарю. Банку чая возьму и поеду поработаю.

— Ну, ладно. Спасибо за кофе. Как-нибудь еще позвоню.

— Звони.

— Ты такой классный... Я должна тебя поцеловать.

— Целуй.

Она коснулась губами моей скулы. В то же мгновение от угла Макдональдса отделилась рыхлая фигура и сделала робкий шаг в нашу сторону.

— Ч-чёрт! — сказала Люся. — Его тут не хватало.

Жених стоял перед нами во всей своей красе. Белые штаны, красный свитер, толстые черепаховые очки. Волосы ежиком. Отвислые щеки. Пухлые губы.

— На два слова, — сказал он мне.

Мы отошли в сторону, и он заговорил:

— Представляться не буду, формально мы знакомы. Я давал тебе свою визитную карточку — скорее всего, ты ее выкинул, не читая, — но это неважно. Мы знакомы, и между нами женщина. Я пытаюсь ее завоевать уже который месяц. Потратил на нее больше миллиона иен. Облек в пурпур и бархат. Выполняю малейший каприз. Всячески подчеркиваю серьезность намерений. Кое-чего уже добился — она подарила мне поцелуй, для такой женщины это немало. Теперь поставлено условие, пятьсот часов без посяганий, — я принял это условие, сейчас мне остается триста сорок часов, и нет такого условия, которого бы я не принял и не выполнил. Потому что это моя мечта, ты понимаешь — мечта! Жениться на белой красавице — это оправдало бы всё. Это главное и единственное, что я им не отдам, это последний плацдарм моего «я». Тридцать лет я делал то, что мне велели. Я послушно ходил в садик, ходил в школу, ходил к репетитору, ходил в университет, теперь хожу на работу, хожу на собрания, хожу на спортивные праздники, уважаю старших, горжусь фирмой, пью с начальством, повышаю квалификацию, делаю выплаты в пенсионный фонд; мне говорят, что я должен наконец жениться — А Я НЕ ХОЧУ !!! То есть нет, хочу, конечно, — но не так, как хотят они. У меня свои представления об идеале. Моя избранница должна быть большегрудой, длинноногой и белокожей. Не потому, что я хочу всех заткнуть за пояс, вовсе нет. Просто не осталось другого выхода — больше нечем вознаградить себя за столько лет пришибленности. Жертвующий должен быть увенчан, и во имя этого венка я готов пойти на новые жертвы и на новое рабство. Ради моей царицы я проползу на пузе до северных территорий и обратно, останусь гол и нищ, низведу себя до полного идиота, но не отступлю. Возможно, это и не самая эффективная схема, но капля точит камень: сегодня я младший инженер, а завтра старший, это так же неизбежно, как выход на пенсию, такова общественная логика, отчего бы ей и в любви такой не быть? Сто встреч, триста заказов, пятьсот часов; пуд соли, цистерна виски, тысяча голых титек — а там, глядишь, плод и созрел, должна же быть награда за терпение? Да и как жить, если в это не верить? Я и верил бы — но тут появляешься ты. Возникаешь, как землетрясение, чёрт знает откуда. Собираешь вокруг себя кучу девок, надираешься до синих соплей, не можешь попасть в писсуар, будишь оперными ариями полгорода — и после этого моя царица начинает дарить свои поцелуи тебе! С какой стати? За какие заслуги? Ты даже не сделал ей именного заказа! Конечно — я не знаю ее языка, не рассказываю смешных историй, не играю на губной гармошке, не имею вот этого дурацкого иронического прищура, с которым ты сейчас на меня глядишь. У меня только деньги и терпение, больше ничего, — но это большое терпение и большие деньги. Рано или поздно я достиг бы своего, если б ты перед ней не замаячил. Зачем тебе эта женщина, почему именно она? Ты ведь не выбрал Барби — понятное дело, ее кадрит якудза! Не выбрал Анжелику — ее кадрит заместитель мэра! Ты специально выбрал Риту, чтобы вытереть ноги об меня. Что ж, это несложно. Давай, троянский герой, давай, хитроумный странник, доставай стрелы, натягивай лук, мочи меня жалкого, гноби меня ущербного, докажи мне окончательно, что я ничтожество, что я тупая шестеренка, что я не имею права на мечту; давай смелее — заряжай и пли!

Конечно, конечно...

Ничего этого он мне не сказал.

Не надо упрекать меня в завирательстве. Действительно, едва ли он был способен на такую долгую и страстную тираду. Вся эта тирада пронеслась у меня в голове за те секунды, что он ежился перед нами, как выловленная черепашка, неуклюже поводя плечами и силясь что-то произнести. Люся прошла мимо него в двери Макдональдса с гордо выпрямленной спиной, даже не взглянув. Он неловко потоптался, бросил на меня вопросительный взгляд, тут же отвел его в землю, вздохнул — и обреченно последовал за ней. Но до того, как двери за его спиной закрылись, я успел шепнуть ему в ответ :

— Мой бедный скебешный губошлеп! Печальный рыцарь голых титек! Несчастное дитя экономического чуда! Упасите меня боги: я не собирался ни целиться в тебя, ни тем более стрелять. Я гость на твоем острове, а не царь; наша милая Пенелопа тоже далеко не царица; а десять лет под стенами Трои провел скорее ты, чем я. Там, откуда я, вообще давно непопулярны героические осады — может, кстати, оттого так и расплодилась порода циников с дурацким прищуром. Здесь же вы штурмуете крепость за крепостью уже шестой десяток лет, если не четырнадцатый. Понятное дело, вам нужно достойно утереть нос белому варвару, который раньше вас придумал всё самое лучшее и главное : паровой котел, электричество, спутник, железобетон, додекафонию и либерализм. Не говоря уж о кинематографе, о пресловутой фабрике грез, о расхожем голливудском типаже, длинноногом и белокуром, — таком желанном трофее для солдата в сыром окопе. Понимаю тебя, служивый, но хочу сказать вот что: из окопа видно далеко не всё. Прицельная оптика сужает перспективу. Я не хожу под ружьем и мог бы рассказать тебе много интересного — но ты лучше спроси у своих. Ты видел нового зазывалу в клубе «Винус»? Он оболтус, лузер, перекати-поле, дезертир — но он знает кое-что такое, чего не знаешь ты. Поговори с ним о последнем альбоме Рона Джейсона, о мэйнстриме и авангарде, о гитарных примочках и о зигзагах судьбы. Он скажет тебе, что из окопа пора вылезать. Да и сам посуди: белые девки, похожие на голливудских звезд, сплошным косяком прут в ваши края на сомнительные заработки — это ли не знак того, что варварский нос утерт? Спасибо тебе за взятые крепости. Спасибо за автомобили и полупроводники, за качество и надежность, за стабильность и безопасность. Спасибо за государственные субсидии, на которые я тут самовыражаюсь и оттягиваюсь. Но поверь — никакие экономические чудеса не стоят той цены, которую ты за них ежедневно платишь. Зомбированное войско уже не возьмет никаких крепостей. Лоботомию лучше оставить подопытным крысам. И главный мой тебе совет: спой хоть раз вместо караоке оперную арию. Отложи в сторону микрофон, задери голову в звездное небо — и спой. Можно даже не арию, можно тяжелый рок, можно рэггей, можно колыбельную, можно одну-единственную ноту — но только своим голосом и от души. Если это у тебя получится, то все блондинки всего Голливуда моментально станут твоими. Твоими до такой степени, что вовсе перестанут тебя интересовать. Если и не в этой жизни, то в следующей точно. Я буду очень переживать за тебя. Дерзай — и да помогут тебе японские боги.

декабрь 2002г.